

18+

Юрий Пиляр

Ирина Пиляр

СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ. ТРЕПЕТНОЕ МГНОВЕНИЕ



Юрий Пиляр

Семейный альбом.
Трепетное мгновение

«Издательские решения»

Пиляр Ю.

Семейный альбом. Трепетное мгновение / Ю. Пиляр —
«Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-986296-9

Свое название «Семейный альбом. Трепетное мгновение» — новый сборник получил не случайно. Повести, рассказы и эссе авторов сборника позволяют высветить забытые лица предков, приоткрыть историю одного старинного аристократического рода, заглянуть в глубину веков, немного побыть в позапрошлом и прошлом столетиях, а потом плавно перейти в наше недалекое прошлое. Объединяющим началом всей книги является семейный портрет, узнавание себя самого в своем прадеде и прабабке, своем деде и отце.

ISBN 978-5-44-986296-9

© Пиляр Ю.
© Издательские решения

Содержание

Предисловие	6
Часть первая	8
Вор-воробей	8
Моя семья	8
Страшный сон	10
Серёга	12
На Кубене	16
Заблудился	18
Князь Шуйский	20
В папином кабинете	22
Праздничным вечером	24
Сёстры, Люба и костыли	27
Я цыган	29
У лесорубов	30
Опять собака	33
Как мы с Ксеньей болели	36
Папа и мама	38
Он не умрёт	40
Талая земля	43
Семь лет спустя	43
Друзья-приятели	45
Нина	47
Поход в столовую	49
Урок литературы	52
Футбол	54
Дома	55
Муки творчества	58
Немецкий	60
У нас всё ещё впереди	62
Любимый учитель	66
Трепетное мгновение	69
Елизарово	69
Я – домашний учитель	71
Мария Августовна	73
Кое-что о воспитании характера	75
Избранное общество	77
Конец ознакомительного фрагмента.	79

Семейный альбом. Трепетное мгновение

Юрий Пиляр

Ирина Пиляр

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ОТЦА

*И 75-летию ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
ПОСВЯЩАЕТСЯ...*

Редактор Людмила Маковейчук

Технический редактор Ирмели Таласйоки

Художник Юлия Колга

Оформление книги Ирина Пиляр

© Юрий Пиляр, 2020

© Ирина Пиляр, 2020

ISBN 978-5-4498-6296-9

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Предисловие

В литературу 60-х годов фронтовик, бывший узник концлагеря Маутхаузен, Юрий Пиляр пришел со своей темой – темой фашистских концлагерей, и этой теме писатель остался верен до конца, до последних своих дней. Вот, что он сам написал о себе в своем дневнике: «Я – писатель-антифашист, в юности был активным участником антифашистского Сопротивления в Маутхаузене.

Вся моя сознательная, с 1956 г., жизнь направлена на борьбу с этим дьявольским явлением – германским фашизмом: мои романы, повести, очерки, выступления по радио и телевидению. Этот дьявол во плоти, сгубивший более 50 млн. человеческих жизней и создавший *ад* на земле – концлагеря. Я пытался, как писатель, вскрыть изнутри и со всех сторон – в назидание потомкам – природу сего страшного явления!»

В сборник «**СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ. ТРЕПЕТНОЕ МГНОВЕНИЕ**» вошла ранняя повесть Юрия Пиляра «**Все это было**», с которой он начал свой путь писателя-антифашиста. В этом, по сути автобиографическом повествовании, показаны страшные годы военного лихолетья, с 1942 по 1945, которые герой повести провел в застенках концлагеря Маутхаузен.

Трилогия «**Вор-воробей**», «**Талая земля**», «**Трепетное мгновение**», предшествующая военной повести, рассказывает о детских, отроческих и юных годах автора. В этот период жизни складывается характер, воспитывается воля, а главное проникают в душу героя все те ценности, полученные в семье, которые позволили ему чуть позднее, в неполных восемнадцать лет, преодолеть нечеловеческие испытания, выпавшие на его долю в фашистском лагере смерти.

Кроме того, в сборнике «Семейный альбом», читатель встретится с рассказами выпускницы Литературного института в Москве, Ириной Пиляр, дочерью Юрия Пиляра.

Идея совместной книги отца и дочери появилась давно, еще в ту пору, когда они оба увлеченно работали над киносценарием «**Матрешка**» в 1975 году. Позже, творческий руководитель Ирины Пиляр на отделении прозы в Литинституте, известный писатель Анатолий Ким, положительно оценивал художественные работы своей студентки и не раз предлагал их к публикации.

Постепенно родился общий замысел книги «Семейный альбом», позволивший высветить забытые лица предков, приоткрыть историю одного старинного аристократического рода, заглянуть в глубину веков, немного побыть в прошлом столетии и на рубеже веков, а потом плавно перейти в наше недалекое прошлое и соприкоснуться с настоящим. Наряду с художественными произведениями, включенными в сборник, встретятся жанры и документальной прозы, и дневниковые записи, и эссе. Но объединяющим началом всей книги, повторяем, является семейный портрет, узнавание себя самого в своем прадеде, деде, отце, а это уже не только личная история, но и немного всеобщая...

В эссе «**Пояснение к анкете**» писатель Юрий Пиляр впервые открывает свое происхождение. Древний баронский род Пилар фон Пильхау имеет глубокие корни, правда, здесь еще немало темных пятен. Об этом, о своих более близких родичах, некоторых биографических подробностях увлекательно и с добрым юмором рассказывает автор.

Первую часть сборника завершают «**Странички дневника писателя**», написанные в больнице (1987 год), в последний короткий период жизни писателя, несколько месяцев не дотянувшего до своих 62-х лет.

Вторую часть книги открывает пробная работа Юрия Пиляра в качестве киносценариста при участии юного соавтора – шестнадцатилетней дочери Ирины. Матрешка – это символ, любимый сувенир, который привозит своим чешским подругам одна московская школьница. А на чешском курорте она оказывается, сопровождая на лечение своего овдовевшего отца, ветерана войны, воевавшего, между прочим, и в этих местах, недалеко от Праги, а впослед-

ствии попавшего в концлагерь и заработавшего весь тот букет болезней, который и пытается излечить здесь, на целебных чешских водах...

«**Матрешка**» – это и своеобразный переходный мостик к творчеству Ирины Пиляр, ибо впервые в центре повествования появляется девический образ, образ героини, который будет присутствовать на страницах произведений, составляющих вторую часть сборника «**СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ. ТРЕПЕТНОЕ МГНОВЕНИЕ**».

В рассказе «**Дедушка Айджан**» (1984 г.) читатель оказывается в далекой казахской степи, где в доме таинственного старика-травника собрались жаждущие исцеления женщины. «И, – как пишет писатель Анатолий Ким, – началась исповедь не литературной, а живой души о жизни, о горе, о страхе смерти, о милосердии, о постижении нелегкой науки добра...»

Повесть «**Разрыв-трава**» (1986 г.) – семейно-бытовая драма. «Никто не виноват, и все виноваты. Отец и мать, и мачеха, и жизнь, которую не так складывают люди...» (из рецензии писателя В. Амлинского).

Рассказ «**Сердечная привязанность**» (1990 г.) – о сострадании, о женской доле, об испытаниях судьбы и еще о вере, о Божием храме.

Эссе «**Семейный альбом**» – первое название «**Бароны**» (1994—95 гг.) – как бы продолжает тему эссе Юрия Пиляра «**Пояснения к анкете**» и дает более полную и широкую картину родословного древа, семейной генеалогии. Такая возможность у Ирины Пиляр появилась в результате открытия новых архивных данных как в нашем отечестве, так и за рубежом. На родословном древе засияли имена фельдмаршала Голенищева-Кутузова, графа Орлова, князя Кудашева, Столыпина, князя Воронцова-графа Шувалова... Список можно продолжить. Сокращенный вариант этого эссе под названием «**Бароны**» печатался в газете «**Дворянский вестник**» при Российском Дворянском Собрании.

Не всегда, далеко не всегда, сбываются мечты. Юрий Пиляр долгие годы ждал переиздания известного романа «**Люди остаются людьми**», переведенного на многие европейские языки и причисленного к лучшим военным произведениям своего времени. Не дождался. Мечтал писатель и об издании двух- или трехтомника своих произведений к 70-летнему юбилею, который состоялся бы в 1994 году. Жизнь оборвалась в шестьдесят два года, юбилейных томов не было и посмертно.

Сейчас в моде другие книги. Книжные магазины изобилуют детективами, приключенческой литературой и любовной романистикой. Поэтому можно понять издателей, которые избегают брать в производство рукописи серьезного, так называемого не популярного содержания.

Тем не менее, мы осмелились предложить к изданию сборник «**Семейный альбом. Трепетное мгновение**», вложив в производство книги собранные по крохам собственные средства. И нас не оставляет надежда, что книга найдет своего читателя, свою среду обитания. И еще. Сбудется, даст Бог, хотя и с опозданием, мечта писателя об издании совместной, его и дочери, художественной книги...

Ирина Пиляр

Часть первая Юрий Пиляр

Вор-воробей

*Мальчик на ножки ступает, Ума-разума пытается... Вор-воробьишек летит – То мальчиночка шалит.
Северная игровая песня*

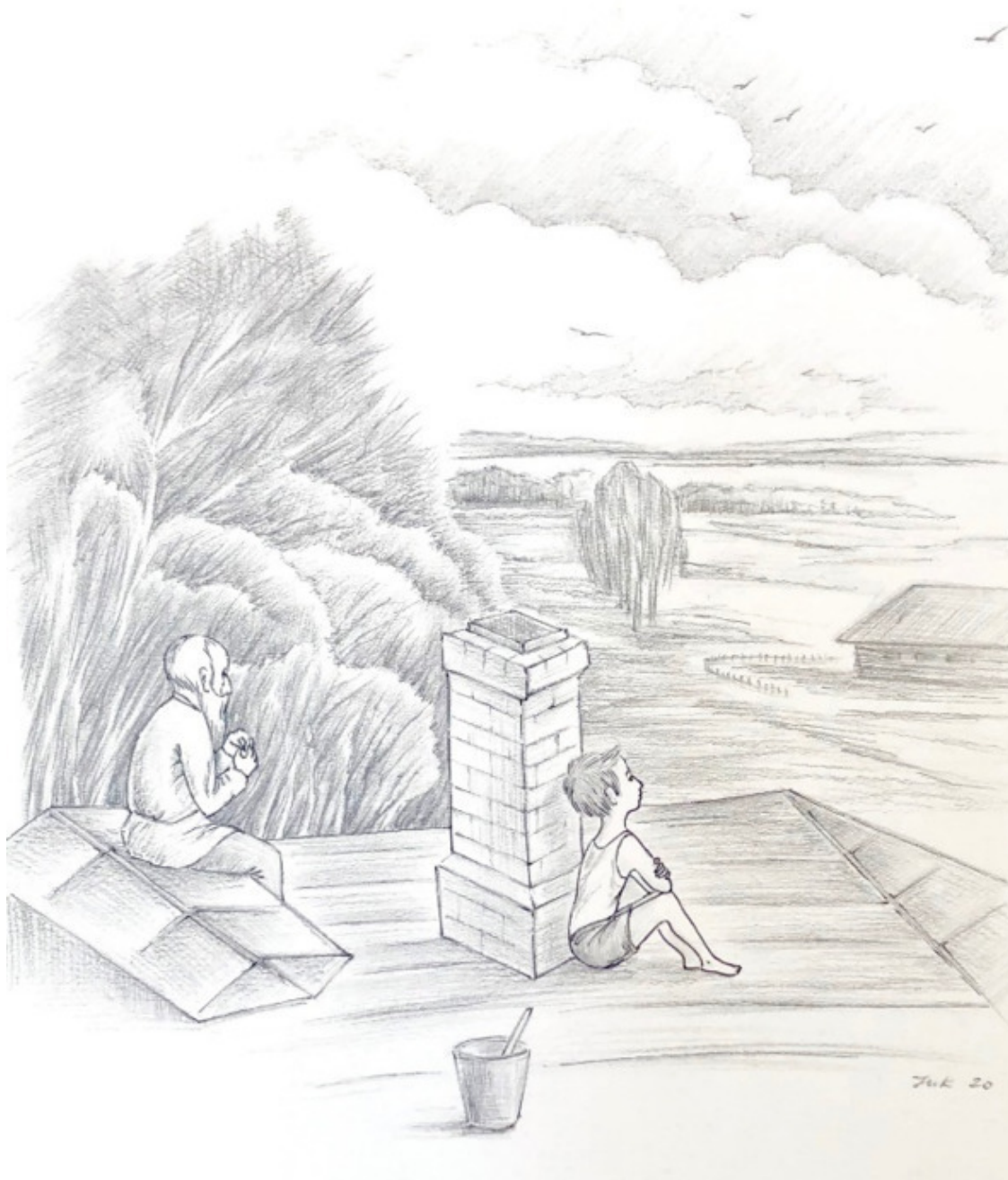
Моя семья

Мой папа учитель и агроном. Мы живём в школе на втором этаже, здесь живут и другие учителя со своими семьями. На первом этаже классы – пятый, шестой и седьмой, кабинеты, папина комната-лаборатория, физкультурный зал, ну, а на втором, как я уже сказал, живут.

Наша школа называется ШКМ – школа крестьянской молодёжи. Она стоит на краю большого села Троицко-Енальское, у широкой дороги. Мы сюда приехали из города Великого Устюга несколько лет тому назад, но я плохо помню, как переезжали: был ещё мал.

Теперь я уже умею читать, а писать – только печатными буквами. Однажды сестра написала в тетрадке слово ЮРА, я перерисовал его и выучился, потом разучил слова ПАПА, МАМА, а потом научился писать остальное. Мама это объясняет тем, что у меня способности. Я, правда, люблю рисовать. Я как-то разрисовал карандашом дверцу папиного бюро – нарисовал корабли; мама хотела их соскоблить ножом, а меня поставить в угол, но папа заступился: он решил сохранить мои корабли на память.

Я хочу стать моряком. Мы получаем журналы «Красный следопыт», «Прожектор», «Вокруг света», и я подолгу рассматриваю картинки, на которых изображены корабли. Море такое красивое, я часто люблюсь им в одной толстой книге – Брема. Там на цветном листке, загороженном тонюсенькой папиросной бумагой, нарисован берег моря, голубого-голубого, и ягуар. Этого ягуара и узкую полоску моря я вижу иногда даже во сне.



У меня две сестры. Вообще-то их, сестёр, больше, но те не с нами, они замужем. А эти должны присматривать за мной, Ксения и Ира. Ксения на два года старше меня, она весной перешла во второй класс и ещё играет в куклы, а Ира закончила ШКМ и теперь учительница физкультуры. Они только расстраивают маму, что плохо за мной присматривают: им некогда.

У нашей мамы большое сердце. Когда она лежит, нам по хозяйству помогает Дуня. А когда мама здорова, она копается на огороде или возится на кухне – стряпает, стирает бельё, чинит папины рубашки, – или же разговаривает с женщинами, которые приходят к ней посоветоваться.

Вот пока и всё о нашей семье. Потом я буду ещё кое-что рассказывать о папе, маме и сёстрах, а сейчас только скажу, что они всегда заняты и им не до меня, а мне это и на руку.

Страшный сон

Сегодня мне приснились ведьмы. Сперва собака, которая живёт недалеко от почты, а потом ведьмы. Я будто поднимаюсь по лестнице домой, а она лежит поперёк на ступеньке и смотрит на меня жалостно. Словно хочет что-то сказать или не пустить. Ну, я взмахнул руками и перелетел через неё – во сне это получается, – а когда встал на ноги и оглянулся, собака исчезла. И тут я заметил, что в коридоре темно, а в углу возле нашей двери кто-то притаился. Я сразу понял, кто это. Ведьмы же всегда в углу прячутся, подкарауливают. Я – наоборот, а ещё одна ведьма из-под лестницы выскочила, расставила руки и пальцами скрюченными шевелит. Я в другой конец коридора, и они за мной. Я по чёрной лестнице вниз, и они тоже. Я опять взмахнул, перелетел через их головы, а они раскрыли рты и нехорошо смеются. И будто бы я уже не в коридоре, а в папином кабинете, а сам папа в соседней комнате сидит на стуле, лицо у него печальное и какое-то больное, он смотрит в открытую дверь и будто не видит меня. Я думаю, почему же он не видит – так обидно! – хочу позвать его, а ведьмы уже тут как тут, захлопнули дверь и опять – ко мне. Я от них и выпрыгнул в окно, прямо со второго этажа. Я понимал, что это сон, поэтому и выпрыгнул. И не разбился, а только проснулся.

Это ещё хорошо, что так проснулся. Бывает, что просыпаешься не по-настоящему: тебе лишь кажется, что проснулся, а на самом деле продолжаешь спать. Со мной несколько раз было так: я вдруг как будто просыпаюсь, как будто вижу себя в папином кабинете, где я сплю, вижу как будто даже солнце в окне, но когда встаю – никого в комнате нет, и на улице никого нет, и солнце вдруг начинает меркнуть, и я уже догадываюсь, что сон не кончился, и что ведьмы где-то поблизости и вот-вот снова погонятся за мной. Такие двойные сны я особенно не люблю.

Вот и сейчас – я проснулся и не совсем уверен, проснулся ли. Во-первых, тихо, не слышно ничьих шагов и голосов. Во-вторых, в окне солнце. Всё подозрительно смахивает на тот сон, который я особенно не люблю. Надо попробовать надеть тапочки и стрелой промчаться в уборную, а потом опять залезть под одеяло. Это самое лучшее, чтобы избавиться от ведьм: после этого ведьмы обычно не снятся. А вдруг мне только покажется, что я туда промчусь, а на самом деле это произойдёт не там, а на папиной кушетке, во сне?

Нет, попробовать не буду. Я и так чувствую, что проснулся. Тишина в комнате – это потому, что папа на своём опытном участке поливает огурцы, или подщипывает томаты, или что-то колдует над земляной грушей – прививает или скрещивает; мама на нашем огороде окучивает картошку, да и Ксения с ней, наверно. А Ира, конечно, ушла в сельсовет или в избу-читальню по общественным делам – она всегда пропадает по общественным делам.

Солнце – самое настоящее. Оно ещё невысокое, смотрит в комнату сквозь тонкие ветки берёз. И совсем не меркнет. Значит, я проснулся не как будто, а точно. Здравствуй, день!

На кухне меня ждёт большая кружка парного молока и ломоть ржаного хлеба. Молоко я выпиваю залпом, хлеб, посолив, сую в карман. Затем ополаскиваюсь под ручкой, проверяю почтовый ящик на двери – он пока пустой – и по чёрной лестнице схожу на крыльцо.

Здесь, пригревшись на солнышке, дремлет кот Васька. Я котов не люблю. Во-первых, он притворяется, что дремлет, а сам все видит и слышит, а во-вторых, они орут на чердаках. Его можно было бы щелкнуть в нос или дернуть за ус, но я этого не делаю – ленюсь. Я вообще лентяй. Это даже папа признает, что я лентяй. Интересно все-таки, почему папа был такой печальный и не увидел меня? Надо обязательно его об этом спросить.

Я прыгиваю на дорожку и иду не спеша. Со стороны хлебов тянет разогретым сухим навозцем, снизу из тени остро пахнут лопухи. Мне гораздо больше нравится, когда пахнет черёмуха, липа, даже берёза. А всего лучше – мамины духи в синем флакончике. Я на маму не обижаюсь, хотя она первая и придумала, что я лентяй. Я не лентяй, а просто не люблю делать того, что не хочется.

Сейчас я пойду на почту и принесу наши газеты. Мне неохота идти на почту – из-за собаки, но я всё-таки пойду. Мне нравится, когда папа доволен. Почтальон всегда опаздывает с газетами, а папа любит читать их, когда приходит обедать. И потом, мне хочется посмотреть на заведующего почтой и на плакат, который там висит. Хоть я и боюсь собаки.

Я иду сперва по песчаной дорожке, затем сворачиваю на широкую дорогу. Небо высокое-высокое и голубое. За косой изгородью тянутся поля, шуршащие, жёлтые, с птичьими гнёздами и васильками. А за полями – кудрявый лес, такой неровный зелёный пояс; он зелёный только днём, а рано утром – синеватый, а вечерами – чёрный, иногда немножко сиреневый. От поля волнами идёт сухой тёплый дух.

Я перепрыгиваю канаву, прикладываю ухо к телеграфному столбу и закрываю глаза. Я это очень люблю: там что-то таинственно гудит внутри. Мне представляются какие-то дальние страны, какие-то загорелые матросы, и я сам среди них. Я могу стоять так долго-долго и всё воображать. Но сейчас мне надо на почту.

Пыль на дороге мягкая и тёплая. Она забивается между пальцев и щекочет. Я иду нарочно посреди дороги. Пусть собака думает, что я её не боюсь.

Слева кузница, справа скотный двор и силосная яма. В кузнице весело постукивают и позванивают: стук-звон, стук-звон. А из ямы вкусно пахнет прошлогодним силосом – так бы и поел! Или хорошо зайти в кузницу и покачать за длинную палку мех. Они там, в темноте, как колдуны. Но мне сейчас не до них. Надо вовремя принести газеты и посмотреть на заведующего и на плакат.

У этого заведующего пышные усы, бурый лоб и короткие волосы ёжиком, и он замечательно говорит слово ДЭПЕША. Это он так говорит, как до революции. Раньше говорили ДЭПЕША, а теперь телеграмма, мне это папа объяснил. Он, заведующий, похож на вредителя. Мне немножко жутко, когда я смотрю на него. А на плакате – весь красный, вернее, оранжевый рабочий вытянул руку и показывает пальцем. И никуда от него не спрячешься. Куда ни встанешь – всё равно глядит на тебя круглыми глазами и показывает пальцем. Он и на заведующего показывает, и тому, наверно, ещё жутче, потому что заведующий похож на вредителя...

Собака уже поджидает меня. Растянулась в тенёчке возле высокого тесового крыльца, высунула язык и следит за мной – ждёт, когда я с ней поравняюсь. Я чувствую, как начинает колотиться моё сердце.

Я не должен подавать виду, что боюсь её. Я тебя не боюсь, собака, ты только не вставай. Я не смотрю на неё. Не надо обращать внимания. Надо идти спокойно и прямо, но у меня подгибаются ноги. Теперь она обязательно придерётся.

Я иду почти не дыша. И я слышу, как она, проклятая, вскакивает и топает, перебирая лапами, по сухой тропе. Я на неё не гляжу, не обращаю внимания, а она всё равно приближается.

Не надо, собака, пожалуйста, не надо!..

И я чувствую, как сзади на мои плечи наваливаются две прохладные мохнатые лапы. Я делаю вид, что ничего не случилось, и продолжаю идти. Я не обращаю внимания, хотя всё во мне холодеет. Мне хочется закрыть глаза и очутиться во сне. И у меня пересыхает во рту.

А она шагает, опираясь на мои плечи, и часто, шумно дышит мне в затылок. Господи, миленький, заступись ты за меня!

Внезапно я ощущаю толчок, чуть не ныряю носом, и – какая радость, какое облегчение! – её лап на моих плечах больше нет. Помоги и помилуй, помоги и помилуй!

Теперь я слышу позади себя только мягкие её шаги. Она идёт за мной следом. А вдруг ей что-нибудь ещё вздумается? Помоги и помилуй! Но вот шаги затихают. Наверно, остановилась. А может быть, хитрит? Ждёт, что я оглянусь?

Но собака в самом деле отстаёт и тут же исчезает куда-то. Как во сне.

Я поглубже вздыхаю и бегом к крыльцу почты.

Пожилая тётенька-служашая с растрёпанными волосами молча протягивает мне газеты, и мне как-то подозрительно: а вдруг она сейчас превратится в ведьму? И всё на почте сегодня как-то подозрительно: заведующего с усами не видно, молоточком по письмам никто не постукивает, и плакат с оранжевым рабочим висит как будто не с той стороны. Что-то всё не такое, не настоящее...

Когда я уже другой дорогой возвращаюсь домой, я думаю: может, я ещё не совсем проснулся? Мне хочется побыстрее к папе, чтобы он мне всё объяснил – и про тот сон, как он был печальный и не увидел меня, и про сейчас, – я заворачиваю за школьный сарай, спешу на опытный участок, но там папы нет. Я бегу домой, и дома его нет. И мамы нет. Одна лишь Ксенька под окном в тени играет со своей подружкой Любой Кораблёвой в куклы. Я сверху крикнул Ксеньке, спросил её, а она мне только ответила, что мама велела никуда не уходить, потому что скоро будем обедать; а папа, сказала Ксенька, наверно, пошёл в кооператив узнавать, привезли ли удобрения. А какой дорогой пошёл – через лесок или мимо кузницы, – она не знает.

Вот она всегда такая: ничего не знает! Ксенька-то, я вижу, самая настоящая – толстоносая, с голубым бантом на голове, – и мне сразу стало полегче.

Серёга

Я ещё немножко покрутился у окна, пока не пришла мама, а потом потихоньку улизнул. Я знаю, что делать что-нибудь потихоньку некрасиво, но всё же иногда делаю. Я не люблю обедать, когда жарко. Мама будет заставлять есть горячий суп – вот я и улизнул. Я тоже решил пойти в кооператив.

Жарища такая, как в бане. Трава, цветы, можжевельник – всё разомлело на солнце и пахнет. Пчёлы уткнулись в мохнатые лиловые цветы и дремлют, выставив задки. У них там на самом кончике – чёрный блестящий коготок. Они им тоже жалят. Чтобы никто не смел брать мёд, который спрятан в их животе в светлом круглом мешочке. Я на обратном пути обязательно поохочусь на пчёл, выну из них мешочки и угощу маму мёдом. Чтобы она не очень сердилась.

Я иду по лесной поляне. На голове тубетейка, голову мне не печёт. Эта дорога через лесок хороша тем, что здесь никто не подстерегает меня и не мешает воображать. Собственно, дороги нет, это я так просто говорю себе, что дорога, – я тут много раз ходил и запомнил, где поляна, где яма с крапивой, где надо свернуть в поле и идти по тропинке через рожь. Интересно, что, когда я что-нибудь воображаю и после рассказываю про это дома, папа улыбается сквозь очки и называет меня фантазёром, а Ксенька – вруном. Она всё время называет меня вруном.

Во ржи меня не видно, я скрываюсь в ней с головой. Она сухая и жёсткая и дышит зноем – рожь мне не очень нравится. И ячмень не очень – из-за колючих усиков, загнутых кверху. А овёс нравится. Когда овёс ещё недоспел, его можно набрать в ладонь и пожевать. Из него вытекает сладкое молоко. Им питаются медведи.

Во ржи медведей не бывает. Тут только жаворонки – как вылетят внезапно и, быстро хлопая крыльями, скроются. И опять тишина. И громадное солнце. И васильки стоят на ножке, синие и фиолетовые звёздочки...

Поле обрывается, и я выхожу на деревянные мостки, которые протянулись от больницы до церкви. Отсюда рукой подать до кооператива. О нашей церкви я ещё расскажу. Ужас! А теперь через площадь, через зелёный бугорок, через широкую горячую дорогу прямо в просторный двухэтажный дом, в открытую дверь.

Внутри темновато, не жарко и столько разных приятных запахов! Я из-за запахов сюда и хожу. И из-за того, что тут в самую жару не жарко. И ещё из-за одного хромоногого парня Серёги, который околачивается тут целыми днями.

Пахнет, во-первых, пряниками и керосином. Во-вторых, рогожей, деревянными ящиками и водкой. Немножко пахнет табаком от папирос. Я люблю, когда много запахов, – тогда я тоже что-нибудь воображаю и мне что-то представляется.

На меня смотрит продавец. Он возвышается над прилавком, как колокольня. Он строгий, и с ним трудно разговаривать. Я снимаю на всякий случай тюбетейку.

– Что, мамку потерял? – сверху спрашивает он толстым голосом.

Он серый и очень чужой.

– Папу, – отвечаю я снизу.

У продавца большой рот, большой нос, и он весь какой-то жёсткий.

– Папы твоего тут не было. Может, в правлении?.. А ты чего всё носом водишь?

– Я пряников хочу, – признаюсь я.

Голова продавца склоняется над прилавком. Большой рот кажется ещё больше.

– Деньги-то есть?

– Нету.

Продавец вновь выпрямляется и делается неподвижным. И равнодушно молчит.

– Я деньги после могу принести. Сколько надо? – говорю я.

– После нельзя.

– А почему нельзя?

– Потому что нельзя. Амба!

Вот и поразговаривай с ним. Амба, и всё. Это слово надо обязательно запомнить – «амба»!..

Не удастся мне поесть пряничка. Так жалко! Пока я не сказал ему, мне и не хотелось, а теперь так захотелось, что только о них и думаю. И запах только один слышу – медовый, очень сытный. И они стоят перед моими глазами, хоть я и не вижу их за высоким прилавком, – круглые, твёрдые, с застывшей белой корочкой. Я глотаю слюну.

– Сходи попроси у мамы две копейки, – говорит голос сверху.

– Сейчас, – отвечаю я и бросаюсь к двери.

В дверях чуть не налетаю на того самого Серёгу. Я его чуть не сбиваю с ног – у него одна нога покороче и слабая, и ему неудобно ходить. Он меня отталкивает, и я бочком проскакиваю мимо него на улицу.

А на улице, на солнышке, я сразу понимаю – никаких мне двух копеек не будет. И пряников, значит, не будет. Я улизнул от обеда – какие уж тут две копейки! Даже если я добуду маме мёда из пчёл, всё равно не будет.

Я вытаскиваю из кармана ломоть хлеба, который остался у меня от завтрака, сажусь на опрокинутый ящик в тени и ем. Серёга уже выходит раскачиваясь. У него большущая кепка со сломанным козырьком, одна щека оттопырилась – там заложен кусок сахара, я знаю. Сейчас он будет закуривать.

Серёга правда закуривает папиросу, соскакивает на одной ноге с низкого крылечка и поворачивается ко мне.

Он глядит на меня, а я на него. Я гляжу, как он сосёт сахар и курит. Я ему чуть-чуть завидую – из-за сахара. Я тоже мог бы сосать сахар и есть хлеб. Получилось бы, как будто я ем пряник.

– Чего вылупился? – угрюмо спрашивает Серёга.

Он всегда угрюмый. Я однажды видел, как он курил сразу две папиросы. Сунул их в уголки рта и дымит. И сурово смо-трит по сторонам – не смеются ли?

– Ты зачем тогда голубям глаза вытыкал и с церкви бросал? – говорю я.

– А мне ндравится, – мрачно хрипит Серёга. – А те какое дело?

А сам сосёт сахар и дымит.

Я прячу хлебную корку в карман – после доем, – слезаю с ящика и отхожу шагов на десять. С Серёгой лучше разговаривать издали.

– Ты живодёр, – говорю я.

– Чего? – грозно произносит Серёга и немного оседает на кривую ногу, изготовляясь к прыжку.

– Живодёр, – повторяю я.

Тут я потихоньку пячусь, потому что Серёга резко сдвигает брови.

Хотя догнать меня он всё равно не сможет.

Но Серёга вдруг перестаёт хмуриться и подтягивает слабую ногу. Папиросу вынимает изо рта. И даже будто улыбается.

– Хошь, на пряник дам? – почти уже ласково спрашивает он.

– Мне отец даст.

– Когда те он ещё даст, а я – вот! – И Серёга, улыбаясь, показывает медную денежку, на которую можно купить пряник, а то и два.

Пока я размышляю, как быть, Серёга неожиданно в два маха подсакивает ко мне и больно хватает за плечо.

– Попался! – злорадно смеётся он. – Я те сейчас покажу живодёра, я тя, шкет, зелёная труба, сейчас тоже сброшу с колокольни.

– Эй! – кричит кто-то. – А ну, пусти парня!

– Сейчас, дяденька, пуцу, – ухмыляется Серёга и тащит меня, ухватив за ухо, к церкви.

– Пусти, живодёр, подкулачник! – чуть не плачу я, с ужасом представляя себе, как Серёга будет сбрасывать меня с колокольни.

Серёга даёт мне подзатыльник, и тут – тут вновь происходит чудо.

Чья-то длинная рука цепляет Серёгу за шиворот и встряхивает. Жёсткие Серёгины пальцы отпускают моё горящее ухо. Серёга бормочет ругательства, а продавец из кооператива, ворочая головой, сердито отчитывает его.

– Подыми головной убор, – тоже сердито говорит мне продавец, и, когда я поднимаю сбитую Серёгой тюбетейку, он берёт меня за руку и ведёт в открытую дверь.

Скажите – не чудо! И даже бесплатно пряник даёт. Я после ему, конечно, отдам две копейки за пряник, хотя он мне больше ничего и не говорит про деньги.

Я снова выхожу из кооператива. Серёги не видно. Ну и ладно. Сегодня я уже наглядился на него. Я его не боюсь, хоть ему уже пятнадцатый год. Я от него всегда могу убежать.

На улице всё ещё как в бане: жарко, душно. Даже куры с петухами попрятались. Я бы пошёл на Кубену купаться, но, во-первых, надо идти мимо кладбища, а во-вторых, я обещал папе не ходить без него на Кубену. Куда бы мне ещё пойти, где прохладно или хоть не так жарко?

Я думаю об этом и вдруг вижу, что из дома Тимачёвых выходят с ружьём. Два знакомых дяденьки из сельсовета и один незнакомый, в военной форме. Я военных люблю. Я забываю про жару и бегу поглядеть на военного. И на ружьё, которое держит, посмеиваясь, председатель из сельсовета.

Они, посмеиваясь, останавливаются около деревянной трибуны, где Первого мая висели плакаты и говорили речи. Я тоже останавливаюсь недалеко от трибуны. У военного дяденьки на поясе кобура с наганом. Вот бы он стрельнул из него! Я больше не могу оторвать от него глаз. Сапоги у дяденьки чистые, как зеркало, на воротнике малиновые полоски, жёлтые пуговицы горят, ремень немножко поскрипывает, когда он поворачивается. Голова у него бритая, розовая, и он тоже посмеивается негромко. До чего же красивый!

Председатель из сельсовета, что-то сказав ему, кладёт ружьё на уголок трибуны и целится. Он наводит дуло на колокольню, где сидят галки. Вот здорово! Сейчас как бабахнет! Я от волнения присаживаюсь на корточки.

Вдруг ружьё как ударит с грохотом – это оно выстрелило. Жутко! И запах сразу пошёл, незнакомый, холодноватый какой-то. И что-то чёрненькое полетело вниз со второго окошка колокольни, где сидели галки. А остальные с гомоном взвились и заполошились вокруг, затолклись.

– Точненко! – радуется председатель и поворачивает к военному смеющееся малиновое лицо. – Теперь ваш черёд!

А военный больше не посмеивается, а чего-то морщится. И показывает на свою руку – она у него, наверно, болит. Но всё-таки подходит к ружью и прикладывается. А галки-дуры, покрячав, опять рассаживаются в ряд – пожалуйста, бей люблю!

Я гляжу на военного дяденьку не отрываясь. И всё вижу: как он опять морщится, как поддевает под локоть ремешок от ружья, как целится, прикрывая глаз.

И я опять присаживаюсь на корточки и замираю. Но военный не спешит.

– Ну, Агапыч! – говорит весёлый председатель. – По мировой гидре... Пли!

Но военный дяденька поднимает голову, а потом и вовсе снимает ремешок с локтя.

– Не могу, адская боль...

– Тогда проиграл, – смеётся председатель, – всё одно проиграл, товарищ начальник!

Конечно, проиграл. Мне так обидно, что он не стрельнул, хотя и жалко галок. И мне кажется, что никакая рука у него не болит, а просто боялся промазать. Я весь изождался, пока он стрельнёт.

И они делаются неинтересными мне. Пусть уходят дообедывать. Я пойду на убитую галку посмотрю.

Галка вся разбита и в крови. Даже перья валяются. А глазок неживой смотрит. Не успел закрыться.

Неожиданно я вижу Серёгу, который сидит в тени, прислонясь спиной к ограде. Что это он – плачет? У него под глазами розовые ободки.

Я не люблю, когда люди плачут. Даже если это живоде́р Серёга.

– Тебе галку жаль, Серёга?

– Уйди, зелёная труба, – отвечает он.

А может, он и не плакал?

– Ты плакал, Серёга?

– Галифешники! Зимогоры! – зло бормочет Серёга и плюёт, стараясь достать меня.

– А он галку пожалел, а ты голубей не жалел, – говорю я, отодвинувшись. – Он не стрельнул потому, что зачем ему это, а тебе убивать голубей «ндравится».

Серёга хватает камень, но я проворнее: уже отскочил.

– Вы богатели, а бедняки беднели, – продолжаю я. – А теперь этого нет, вот ты и злишься...

Я догадываюсь, почему он плакал. Он из-за меня плакал. Из-за того, что продавец не дал ему сбросить меня с колокольни. Он же убогий, и его никто раньше не цеплял за шиворот и не тряс. Вот он и заплакал. Или, может, своего отца вспомнил, как его в милицию забирали за то, что он мешал богачей Тимачёвых раскулачивать?

И мне опять делается жаль Серёгу: он ведь теперь всё равно что сирота.

– Сын за отца не ответчик, – примирительно говорю я. Это я вспомнил папины слова, когда он спорил с Ирой.

И снова я отскакиваю в сторону – камень, кинутый Серёгой, падает на середину дороги, в пыль.

– А почему я зелёная труба? – Я уже давно хотел спросить его об этом.

Но Серёга больше не отвечает. Он, наклонившись, вытаскивает из штанов папиросы. Интересно бы узнать – зачем он всё курит? Ладно, я лучше пойду к больнице, там около реки

не так жарко. И, отвернувшись от Серёги, я снова иду через пыльную дорогу, мимо церкви к деревянным мосткам, белеющим посреди ржаного поля.

На Кубене

Теперь надо рассказать сперва про церковь и утопленника, а потом – что было дальше.

Я ведь на колокольне бывал, но об этом почти никто не знает. Когда стоишь там наверху и смотришь вниз, то кажется, будто колокольня чуточку качается и вот-вот упадёт, или железная решётка выломится, или меня ветром сдует, – всегда что-нибудь такое кажется, отчего делается немножко щекотно.

Я это люблю, то есть люблю, когда немножко щекотно и когда кругом всё видно: поля, деревни, река Кубена – она блестит на солнышке и извивается в берегах, и всё наше Троицко-Енальское, и люди, у которых как будто нет туловища, а одни головы с ногами, и очень длинные дороги, и всё так чисто и прибрано на земле.

И дует ветерок со всех сторон. А над головой громадина колокол, как баба в дублённой шубе, а сбоку под перекладиной, как ребята на лавке, другие колокола мал мала меньше. И галки кричат и летают туда-сюда – беспокоятся. Я на колокольню три раза лазил.

Я прошлый год, когда церковь была ещё открыта, и внутрь заходил. Жуть! Внизу темно, стоят люди, а вверху дым, и по бокам жёлтенькие огни свечек, что-то поблёскивает, и голову она так печально наклонила и ребёночка держит, и в темноте красиво поют. А посреди стоит поп-батюшка и быстро говорит басом. Скажет быстро что-то непонятное и запоёт, а позади из темноты подхватят и тянут в несколько голосов. А старики со старушками в темноте торопливо крестятся и что-то шепчут. Очень таинственно, и мне нравилось.

Я только не любил, когда он размахивал плоской с огнём. Я тогда всегда уходил из церкви. У него на длинной цепочке в руке была плоская, и в ней что-то горело, и от неё шёл дым, а он махал ею и медленно двигался к двери.

Я его всегда опережал и выбегал на улицу. Мне это не нравилось... с огнём.

И батюшки-попы мне не очень нравились. Я их боялся. Когда, бывало, увижу – идут по улице, убегаю или спрячусь. Я их глаз боялся и длинной одежды. У нас их было два: поп рыжий и поп чёрный. Они были очень здоровые, с пышными кудрями до плеч.

И оба надорвались на пасху. Они выпили водки и стали друг друга поднимать. Я сам этого не видел, но очень хорошо себе представляю. Встали живот к животу, обхватились и давай по очереди друг дружку подбрасывать. И надорвались. А когда их увезли в больницу, рыжий поп вскоре умер, и церковь закрыли.

Мне чуть-чуть жалко, что закрыли. Я не верю в бога, у нас дома никто не верит, а всё же чуть-чуть жалко. Ира, та очень радовалась, а я не очень, потому что нигде больше так не поют.

Когда ещё церковь была открыта, все комсомольцы вместе с Ирой собирались на площади и кричали хором: «Долой, долой монахов! Долой, долой попов! Залезем мы на небо, разгоним всех богов». Богомольные старушки на Иру плевались, а она смеялась. Она у нас бедовая.

Они на Иру и из-за утопленника плевались. Они говорили, что нельзя его в ограде хоронить, раз он сам на себя руки наложил, это не по закону, а Ира говорила – можно, говорила, что церковный закон – это не закон. А его молоденькая жена плакала и всем объясняла, что он не утопился, а был пьяный, потому и утонул. Ну, пока они спорили, я быстро сбегал в больницу и посмотрел на него.

Утопленник, голый, серый, лежал на лавке в избушке для мертвецов. Дверь была заперта на замок, а окошко полое. Я сунул в окошко голову и всё рассмотрел. Там под лавками стояли шайки со льдом, и было прохладно. У него только живот немного надулся, а так – обыкновенный покойник. И я был так рад, что Ира победила и его похоронили в ограде, то есть на самом кладбище. Что он, не человек, что ли?..

Сейчас я как раз мимо этой больничной избушки прохожу, где он лежал.

Избушка сухая, чёрная, под окном выросла крапива, и оно закрыто. Наверно, нет никого внутри. . . Тогда я посижу около неё в тени, а потом пойду на Кубену напиться. Я дорогой съел пряник, и теперь что-то пить захотелось.

Или лучше сразу пойду напьюсь. Купаться-то всё равно не буду, нечего беспокоиться. Кому охота стать утопленником?

Я спускаюсь по тропе меж старых лип к калитке, открываю её и ложусь на мосточек, на тёплые доски, животом вниз. Я зачерпываю воду ладошкой и пью. Вот и всё.

Я люблю смотреть в воду. На дне жёлтый песок в морщинках, а сверху она льётся-переливается. Как она вся не выльется? То рыбёшка подплывёт, уставится удивлённо чёрненьким глазом, потом, быстро вильнув тельцем, исчезнет. То водяной паук на дрожащих лапах куда-то прошагает; то вдруг стрекоза с налёта коснётся прозрачным крылышком воды и вспорхнёт, испуганная.

И опять она льётся-переливается, и морщинки на песке чуть шевелятся. Тут уснуть можно на досках.

А на том берегу бабы сгребают сено. Чуть подальше мечут стога. Ловко, споро – раз, раз – просохшую траву кладут в ряд, в такой валик, потом встают поперёк и – раз, раз – забирают на грабли душистые тёплые вороха и несут в копны. А на замётанном стогу стоит мужик с вилами и принимает свежее сено, раскладывает налево и направо, утаптывает, вилы его с длинными белыми зубьями играют солнечными зайчиками.

Запах лёгкий, чистый доносится даже через реку. И лошадь там ходит, подтаскивая копны на волокушах. И девки бабы слышно, как смеются и громко, живо разговаривают. Они не девки и не бабы – это неправильно, надо говори «деушки» и «женщины». Но они сами себя называют так «бабы», «девки». Не могут отвыкнуть.

Мне, пожалуй, пора к дому. Я бы сейчас даже супу поел – так есть хочется!

Я бы выкупался перед тем как идти, но я дал папе слово. Если бы не дал, то обязательно выкупался бы. Тут мелко. Можно только разок окунуться и вылезти – это не будет считаться, что выкупался.

Я снимаю штаны, стягиваю майку – тубетейка моя, перекувырнувшись, летит в реку. И сразу же на том берегу – откуда они взялись? – загалдели ребята:

– Камилавку, камилавку!.. Агрономов парнёк камилавку обронил!

Я бултыхаюсь в воду – она мне здесь до подмышек, – тубетейка, покачнувшись на волне, отплыла подальше. Я за ней, а ребята с того берега тоже попрыгали в воду и кричат:

– Лови, а то в омут снесет. Держи её!

Я еще шаг за ней, и мне уже до подбородка. И страшновато делается – из-за омута. А ребята уже выбрались на мель и бегут по песку наперерез.

– Стой! – кричат. – Не ходи, потонешь!

Я на цыпочки привстал, весь вытянулся – всё равно не хватает руки, не достаю.

А ребята, пробежав мель, снова в воду и плывут ко мне наискосок, глаза выпучили, руками хлопают – кто первый поймает тубетейку. Один и схватил её, самый длинный, и встал около меня.

– Эва, – говорит и напялил её, мокрую, себе на голову.

И все встали полукругом и засмеялись. Я отступил на шаг, где помельче, и тоже засмеялся. Парень-то рыжий, нос облупленный, волосы мокрые торчат, а на макушке – моя тубетейка.

– Ладно, – говорю, – спасибо, давай её.

– За спасибо-то не отдам, – смеётся рыжий. – Выкупи! Они все вылезли на мосток и расцелись, свесив ноги. И рыжий тоже. Я сел рядом с ним.

– А что ты хочешь за неё? – спрашиваю.

– Томата, – отвечает он, скаля зубы, – или сахарного гороху, можно кабачок.

– Так это же всё у папы, – говорю я. – Может, другое что-нибудь?

– Топинамбур, тыква, севооборот, – смеётся рыжий.

И остальные посмеиваются негромко, вроде бы стесняясь, и переглядываются.

А рыжий говорит:

– Я твоему папаше на уроках всегда на«очхор» отвечаю. На! – и пересаживает тюбетейку со своей головы на мою.

И все опять зачем-то засмеялись и стали соскакивать в воду. А я выжал тюбетейку, надел штаны и помахал ребятам на прощание.

Заблудился

Отворив калитку, я снова поднимаюсь по тропе в больничный сад. Он большой, тенистый, весь зарос тополями и старыми липами. Дома красивые – розовые. Это палаты. А два дома коричневые, с красными торцами брёвен. И везде проложены деревянные мостки, такие дощатые дорожки. Пожалуйста, иди, не спотыкнётся.

Больничных запахов я не люблю. Я поскорее пробегаю мимо палат. По дорожке навстречу мне идёт новый доктор. Раньше у нас была женщина-доктор, добрая. А новый доктор не такой. У него не такая голова – голая и как будто двойная. Она очень поперёк длинная. И под носом пучок усов. Я его немного боюсь: а вдруг он у меня что-нибудь спросит?

Я пробегаю мимо, опустив глаза. Он меня ничего не спрашивает. Я оборачиваюсь и ещё раз гляжу на его длинную ото лба к затылку голову.

Потом я влезаю на забор – крупные пахучие листья липы щекочут моё лицо – и спрыгиваю на другую сторону в рожь. Сейчас я найду какую-нибудь тропинку и пойду на зелёную крышу. Она чуть виднеется вдаль за полем и кустарником, зелёная крыша нашей школы.

Я иду не по самой ржи, а рядом. Я обхожу, наверно, с полполя, и зелёная крыша, став поменьше, отодвигается вбок. Я не люблю возвращаться старой дорогой. Даже это лучше, что нет тропинки. Я леском вернусь домой или, может, выйду к папиному участку.

Тюбетейка моя уже просохла, и солнце опять стало припекать, хоть и опустилось пониже. Пчёлы, которые проснулись, завозились в цветках, зашевелились. А некоторые ещё дремлют, нежатся.

Я ещё успею поохотиться на них. Когда подойду поближе к дому или к участку.

Я лучше леском пойду, тут вроде поменьше солнца. В молодом сосняке очень густо пахнет хвоей, смолой, горячей землёй. Очень жарко пахнет, просто пышет. Всё замерло, размлело и неподвижно. И только рыжие муравьи бегут по своей дорожке туда и сюда: одни – туда, другие – сюда. Туда чего-нибудь несут, а обратно бегут пустые.

Один тащит сухую муху за ногу. Уцепил её передними проворными лапками и тащит-пятится. Другой – осколочек от ржаной соломины. Неужели он её с поля приволок? А куда они волокут?

Я иду за ними и скоро нахожу высоченный, в мой рост, муравейник, такую горку, которая вся кишит рыжим и чёрным, вся переливается и блестит. Вот уж и на меня полезли – сейчас согнут чёрные головки, подождут и укусят, я уж знаю. Я их шелчком сбиваю с ноги и отхожу подальше.

Надо вернуться в поле: в лесу ещё жарче. А в какой стороне поле? Надо пойти обратно вдоль той муравьиной дорожки. А сколько же их, этих муравьиных дорожек? И которая из них та?

От муравейника во все стороны, как лучи, протянулись дорожки с муравьями. Вот смех-то: я не знаю, с какой стороны сюда зашёл! Я смотрел вниз на муравьёв, поэтому и не заметил, и не знаю. Вот чепуха-то, как говорит папа.

Я иду сперва в одну сторону – нет, здесь поля не видно. Иду оттуда в другую – опять не то. Тут земляничкой сильно пахнет. Надо для мамы хоть земляники насобирать. Ладно, вот только выберусь, так насобираю и земляники, и мёда добуду из пчёл. Наверно, мама без меня уже скучает, думает: где Юра?

Ладно, Юра, мы теперь пойдём вот туда – там светится какая-то прогалина. Я иду туда и попадаю на незнакомую лесную поляну со старыми трухлявыми пнями, окружёнными высокой травой. Тут в траве крупная сочная земляника. Я снимаю тюбетейку, раздвигаю траву и – раз, раз – бросаю в тюбетейку самые спелые земляничины. Раз – в рот, раз – в тюбетейку. Только бы нам не заблудиться.

Раз – в тюбетейку, раз – в рот. А почему солнце не печет? Я поднимаю голову – всё небо затянулось серой дымкой. Когда это оно успело? Я, наверно, очень долго смотрел на муравейник.

Раз, раз – в рот, раз – в тюбетейку. Я сейчас вернусь к муравейнику, пройду по всем дорожкам по очереди и найду ту, по которой он тащил соломинку. Я не заблудился.

Я встаю, осматриваюсь и бегу туда, где должен быть муравейник. Но там муравейника уже нет. Я бегу ещё быстрее – может быть, там? И там нет. Я опять бегу, и мне уже хочется заплакать.

Я, наверно, заблудился... Тут низина, папоротник и ели. Я елей не люблю. А с неба уже – кап, кап – на широкие резные листья папоротника упало несколько дождинок. На мою голову – холодненькие. Что же делать? Куда бежать?

Надо бы залезть на ёлку и поглядеть вокруг. Мы с тобой, Юрка, заблудились. Нет, не заблудились. Я этого не хочу: я боюсь лешего. Я лучше побегу, а то хочется заплакать.

Я снова бегу куда-то, и на голову мою и на плечи падает холодненькое. Я боюсь волков и лешего и боюсь совсем заблудиться. Как меня найдут? Что я буду есть и где спать?

А тут уже какое-то болото. Я никогда не видел этого болота. Я бы заревел потихоньку – но кто меня услышит?

Я бегу обратно и думаю про папу и маму. И про Ксеню хорошую думаю. И про Иру. Они стоят печальные и спрашивают: где Юра?

Что же делать? Куда ещё бежать? Куда это меня занесло?

Я останавливаюсь, переводя дух, и вдруг слышу постукивание. Близко очень постукивание – как телега едет. Я кидаюсь в ту сторону, продираюсь через кустарник, и вот передо мной дорога, вся рябая от капель дождя. Из низины, где настланы брёвна, постучав ещё, выезжает телега, а на ней бородатый мужик с кнутом. И хотя он незнакомый, и дорога незнакомая, я смеюсь от радости.

– Здравствуйте! – кричу я дяденьке мужику.

– Здравствуй, парнёк! – Дяденька натягивает вожжи, придерживая кобылу. – Чего тут стоишь? Землянки насбирал?

– Я заблудился.

– Заблудился? – недоверчиво тянет дяденька и – тпру! – останавливает кобылу. – А куда же тебе надо?

– В Троицу.

– Дак Троица – вот она! – Он кнутовищем указывает вдоль дороги, и я, удивлённый, вижу поверх ивняка маленький краешек зелёной крыши.

– Спасибо, дяденька, – говорю я, счастливый, – теперь я быстро добегу.

– Садись, подвезу, – предлагает дяденька, показывая жёлтые зубы под усами.

Я забираюсь к нему в телегу, и мы едем. Мы едем мимо мокрых ёлок, осинок, ольх, мимо потемневшей изгороди к нашей школе, где я живу с папой, с мамой и сёстрами. Я очень люблю этого дяденьку, и папу люблю, и маму, и Иру, и Ксеню. И кобылу его люблю, и дождик, и свою

тюбетейку, в которой лежит земляника для мамы. Я всё люблю, потому что всё такое хорошее, такое чудо, и я не заблудился!

Князь Шуйский

Настала осень, начались уроки, а крышу-то и забыли починить. Она ведь только издали зелёная, а когда мы с князем Шуйским поднялись на неё из чердака, она оказалась грязная, с пятнышками ржавчины и отколупывается. Князь Шуйский постучал по ней молотком, так краска на этом листе почти вся и отлетела.

Сейчас он её заново красит. Он сперва соскрёб старую, почистил, помазал чем-то и красит из ведёрка. Получаются как заплаты. Снизу не заметно, что крыша составлена из листов, из железных квадратов. А когда он покрасил первый лист, так и снизу, с земли, стало, наверно, заметно, что из квадратов.

Мне-то отсюда, от трубы, это хорошо видно. Я вначале сидел на чердаке и смотрел на него из слухового окошка, а потом всё-таки выполз к трубе. Тут лучше, хотя и страшновато, что могу слететь. Мне очень нравится смотреть на него поближе и как он красит.

Он водит кистью вверх-вниз и поёт:

Инда красна девица,
Девица, девица,
Инда красна девица...

Других слов он, наверно, не знает, а я всё равно слушаю. И всё на него смотрю. Он такой осанистый, добрый, и борода у него добрая, широкая и сивенькая, и глаза, и красноватый нос, и домотканая рубаха, оттопырившаяся сзади над завязкой фартука.

Инда красна девица, —

поёт он, а я его слушаю, и мне ни капельки не надоело, потому что он, князь Шуйский, для меня загадка.

Он очень, очень древний. Ему лет триста. Я вот только не понимаю, как он прожил столько. То есть я, с одной стороны, понимаю, что столько прожить нельзя, но, с другой стороны, в том, что он князь Шуйский, тоже нельзя сомневаться, особенно, когда он мягким своим, таинственным голосом поёт про «красну девицу». И песня эта из тех старинных времён, я знаю. И сам он будто сошёл с картинки из папиной книги о Борисе Годунове, где есть и его, князя Шуйского, портрет. Меня вот только немного смущает, что он из деревни Перепечица, но мало ли чего с человеком могло случиться за столько лет! Может, он однажды приехал сюда и затерялся в наших лесах, а потом и сам забыл, кто он такой. Мало ли бывает чудес!

Инда красна девица...

— начинаю негромко подпевать и я у трубы, а он сразу повернул ко мне голову. Вот древний, древний, а всё слышит, слух у него острый. И зубы белые, и все целы и даже блестят, будто он их только что почистил порошком.

— Свалиться не боишься? — говорит он мне.

— Я за трубу держусь.

— А ну как тятенька заметит, что к трубе-то вылез, да задаст нам обоим, а?

— Тятенька сейчас на уроке, — отвечаю я, нарочно называя папу по-старинному — тятенькой.

Князь Шуйский прислоняет кисть к ведёрку, которое стоит на деревянном клинышке, вынимает из-под фартука кисет и присаживается на скат крыши, что над слуховым окошком.

Он вначале разворачивает кисет на колене, отрывает от помятой газеты кусочек и приклеивает его к нижней губе. Затем, запустив одну руку в кисет, другой рукой снимает с губы этот кусочек и сыплет на него махорку. Затем разравнивает её указательным пальцем, подносит край бумажки ко рту, слюнит, покусывает, а потом – круть, и папироска готова. Очень ловко! Он быстро оглаживает её, закупоривает снизу, вставляет другим концом в рот и зажигает спичку, складывая ладони домиком.

Я люблю подробно смотреть, как делают папироски и прикуривают. Так ловко, и потом дым выпускают изо рта и из носа, тремя струйками... Пока он сворачивал, то на меня не глядел и ничего не спрашивал. А как выпустил из себя дым, так сразу посмотрел на меня весёлыми глазами и говорит:

– Как тебя звать?

– Юрий.

– Юрий? Значит, Егорий? А годков от роду сколько?

Я ему сказал и сам спрашиваю:

– А сколько вам?

– А мне, милоч, осемь лет на семой десяток ноне пошло. Вон сколько!

– А почему вы всё про красну девицу поёте? Это старинная песня? – Я подбираюсь к главному – настоящий он князь Шуйский или нет; сразу спросить как-то неудобно. – Очень старинная, да?

– Очень, дружечка. Её, бывало, ещё батюшка-покойник за работой певал, царствие небесное... – И князь Шуйский потряс сложенными в щепоть пальцами у груди, перекрестился.

– А в Бога вы веруете? – допытываюсь я.

– А кто же в Него, в Господа нашего, не верует?

– Папа не верует, я не верую.

– Это грех, – говорит Шуйский. – Папа твой хороший, обходительный со всеми, работать любит и, видать, учёный, ничего не скажешь; вон как землица-то его одаривает – диво! А не верует...

– Ну и что? – отвечаю я. – Даже в старину не все верили. А некоторые хоть и верили, а мальчика убили... Вы Бориса Годунова помните?

– Кого-кого?..

И мне уже ясно, что не помнит. Ещё бы – так давно это было!

Князь Шуйский вдруг улыбается, и я опять вижу его как порошком вычищенные белые зубы.

– Ты это про кого меня спрашиваешь? Про какого Гладцинова? – Он отчего-то всё веселее улыбается. – Ты-то откель про купца Гладцинова знаешь?

– Да не про Гладцинова, а Годунова.

– А-а, Годунова! – И весёлость постепенно исчезает из глаз князя.

Может, ему неприятно вспоминать про Годунова – они ведь, папа мне объяснял по книге, были враги. Или притворяется, что не понимает, про кого я спрашиваю, – может, не хочет, чтобы люди узнали, что он, Шуйский, князь. Он делает ещё две глубокие затяжки, пускает в сивую бороду дым и встаёт, отряхиваясь.

– Сидеть ладно, а дело кончать ещё ладнее. Так аль нет, Юрий-Егорий?

– Так, – подавив вздох, отвечаю я.

Не удалось мне пока узнать про него. Опять буду мучиться до самого сна – настоящий он князь Шуйский или нет, а если настоящий, то как же он столько прожил?..

...Вечером я папу спрашиваю:

– Ты, папа, знаешь того дедушку, что крышу красит?

– Да. А что?

Папа только что вернулся с участка и умывается, а очки его, как всегда в это время, лежат на полочке возле мыльницы.

– Скажи, он князь Шуйский или нет?

– Как? Князь Шуйский? – Папа хватается полотенце, но не вытирается, а, сильно шурясь, смотрит на меня. И чего они улыбаются все, когда я о чём-нибудь спрашиваю?

Он быстро всё-таки вытирается, надевает очки и ведёт меня за собой в комнату.

– Ты опять залезал на крышу, это никуда не годится. Но при чём тут князь Шуйский? Только, пожалуйста, не жуй кашу, когда отвечаешь.

Он всегда говорит, что я жую кашу, когда отвечаю. Он сам немножко недослышит, и ему кажется, будто я что-то жую, а я только «р» не слишком твёрдо выговариваю, а так у меня во рту ничего нет.

Я ещё раз повторяю свой вопрос: может это быть или нет, что тот дедушка – князь Шуйский, который нарисован в книге?

– Аня, ты слышишь? – кричит папа маме на кухню и тоненьким, даже странно, каким тоненьким голосом заливается смехом.

И Ксенька тут откуда-то взялась, схватила себя за кончик круглого носа и захохотала радостно. И мама, показавшись в своём переднике на пороге, засмеялась. Я сперва хотел обидеться, но вдруг сам прыснул, и пошло. Я не могу удержаться, когда другие хохочут. А уж если папа взялся смеяться, тут никто не выдержит. Он потом к концу даже будто плачет, жалобно всхлипывает и платком вытирает голубые свои глаза под стёклышками очков. Ну и пусть. Всё равно тот дедушка-красильщик похож на князя Шуйского. Я завтра папу специально подведу к нему, а после ещё раз покажу книгу, где он нарисован.

В папином кабинете

Потом я ещё долго про него вспоминаю. Как увижу на полке ту книгу, так сразу вспоминаю, как он красил, и его песню.

Я сейчас дома сижу. На улице дождь, слякоть, последние листочки с берёз слетели, а дома натоплено и хорошо. Я сижу в папином кабинете, за его столом – мне это папа позволяет – и воображаю, будто я работаю. Будто я тоже пишу книгу про томаты и разные культуры – как их надо здесь выращивать.

Сперва я смотрю в микроскоп. Как папа. Там внизу, под трубкой, есть заслоночка, и когда её отодвинешь, виден белый светящийся кружок. Папа кладёт на него зёрнышки рассматривает их. А потом срисовывает в блокнот. Они получаются большие и полосатые.

Он всегда так радуется, когда у него хорошо выходит! Он, мама говорит, хочет, чтобы на севере росло то же, что и на юге: гречиха, люпин, тыква, кабачки, помидоры, кольраби, цветная капуста, клубника. Всё это и кое-что ещё папа выращивает на школьном участке, но ему хочется, чтобы это бы и в колхозах. Поэтому он устраивает в школе выставки, беседует с мужиками и заведующими, проводит совещание с агрономами в Вожеге.

Папе, мама говорит, надо очень много знать. Вот он и делает разные опыты – скрещивает, прививает – и всё аккуратно записывает: какая была погода, какие удобрения, какие семена. И когда опыты удаются, папа быстро переписывает из блокнота на отдельные листки, а затем печатает на машинке. Это такая чудная машинка, чёрная. Она хлопает, и верхушка её сама двигается. И отпечатывает на белой бумаге буквы, как в книге. Папа эту напечатанную бумагу складывает в ящик стола – там уже много лежит таких бумаг с рисунками.

Но когда у папы что-нибудь не выходит, он делается грустный. Поднимет на лоб очки и сидит, тихонько постукивает пальцами по столу. Это он так думает. Или же встанет и начнёт прохаживаться по кабинету. Походит, снимет какую-нибудь книгу с полки, полистает и поста-

вит её на место. Иногда при этом сердито взмахивает рукой, будто с кем-то споря, но вслух ничего не говорит.

Потом опять походит, ещё одну книгу возьмёт и снова задвинет её меж других книг. А иногда не задвигает, а, полистав, принимается читать, сперва стоя, потом прислонившись к подоконнику, потом усевшись на уголок кушетки. Если в этой книге стихи, то лицо папы добреет, он закрывает глаза и что-то шепчет, покачивая головой. Я думаю, он так отдыхает. У папы весь кабинет в книгах. Они стоят на полках вдоль стен от пола до самого потолка...

Я немножко смотрю в микроскоп, немножко рисую, немножко трогаю печатную машинку. Затем придвигаю стул к стене и начинаю выбирать книги. Я выбираю только те, которые с интересными картинками.

Особенно я люблю Брема. Там изображены птицы, звери, море, и мне всегда после этого хочется побыстрее стать моряком. Там есть антилопы, носороги, гиппопотамы, тигры, львы, кенгуру с короткими передними лапками и малышом, который выглядывает из живота; верблюды, страусы с толстыми, как у лошади, ногами, разные пёстренькие птички, леопарды. А про ягуара я уже рассказывал.

Как они все называются, мне объясняет мама. Сам я прочитать не могу, потому что книги Брема на немецком языке. Их читает только папа, а мама лишь немного понимает.

Ещё я очень люблю про Гулливера. Там в одном месте он сидит в сундуке, а его под облаками тащит орёл. А на другой картинке сидит лошадь. Облокотилась передней ногой на стол, подпёрла щеку и внимательно слушает Гулливера. Как человек. И видно, что она думает. Жалко лишь, что и эта книга не русская. Она в красном матерчатом переплёте, и на ней написано золотыми буквами по-французски. Это очень странный язык, как будто тебе нос зажали. Я «р» по-французски выговариваю, папа сказал.

Вот я и не скучаю, хоть мне и нельзя гулять из-за дождя. Я на днях прочитал «Конька-горбунка». Мне в особенности понравился конец, как он выкупался. Только как же он все-таки прыгнул в котёл с кипятком? Я бы ни за что не прыгнул, не осмелился бы. Ради того, чтобы царём стать, – ни за какие денежки! И вообще, зачем ему это, раз он со своим горбунком сильнее всех царёв? Вот уж правда дурачок, хоть и добрый!

Я всяких царей и буржуев не люблю. Мне сейчас попала как раз такая книжка. Я её сперва смотрел на папином столе, а потом перебрался на пол, развернул её – она вся в картинках и раскладывается, – лёг на живот и стал глядеть по порядку. Она называется «Наши достижения». В ней нарисованы красные тракторы, красные трубы, а внизу под чертой, где тракторы, – что было раньше, при царе: оборванные мужики с сохой, а рядом – богатей кулак, в жилетке, в сапогах, и цифры – сколько собрали пудов тогда и сколько теперь. А где красные трубы, там под чертой – худенький сердитый рабочий, а рядом стоит буржуй, пузатый, с короткими ножками и цепочкой через весь живот, и опять цифры. Я бы всех буржуев перебил.

Я вспомнил такую Ирину песню:

Мы пойдём к буржуйам в гости,
Мы пойдём к буржуйам в гости,
Мы пойдём к буржуйам в гости,
Поломаем рёбра, кости,
Во, и боле ничего!

Последние три строчки надо петь быстро, а после «во» сделать остановочку и весело закончить – «и боле ничего!»

Только у буржуев нет рёбер, я думаю. У них одно пузо. Я хочу, чтобы отовсюду прогнали таких уродов и поломали им кости.

Потому что они не люди. Поэтому мне их не жалко.

Я Будённого люблю. Над моей кушеткой висит портрет Будённого, и мне нравится на него долго смотреть. У него боевые усы. Я его так и вижу на коне, с шашкой, как он рубает. И как буржуи от него бегут на коротеньких ножках. И как барон Врангель выглядывает из-за каменной стены – у него лицо длинное, губы тонкие, с загнутыми вниз уголками. Он похож на чёрта, только в папахе.

Я чертей видел в другой папиной книге. У них на голове острые прямые рога, а глаза белые. Я как представлю себе его живым – сразу делается холодновато. Особенно от того чёрта, который воткнул в человека кинжал и смотрит на меня с картинки. Ещё очень страшно, как голый человек откинулся спиной к каменной плите, а снизу из могилы выбивается огонь. А ещё – как земля вся покрыта такими плитами и из-под них идёт дым. Что же там бедные люди делают, как же им, наверно, горячо!.. Или как с неба падают огненные капли, а голым людям некуда спрятаться. Зачем это? Или вот ещё. Голый человек (они там почему-то все голые) сидит на камне и смотрит на свою отрубленную голову, которая лежит у него на коленях. Так странно! Я никак не могу этого себе вообразить – как же он её видит, чем? А голова, которая лежит на коленях, тоже смотрит страдающими глазами. Очень жуткая картинка! Он только шею чуть склонил, свой обрубок...

У меня папа отобрал эту книгу и запретил брать. Он сказал, что я ещё не дорос до Данте. Мне надо читать детские книжки, а картинки смотреть лучше всего про животных и дальние страны...

Раскладная книжка мне надоела. Я теперь возьму «Бахчисарайский фонтан». Там тётя голая, печальная стоит, думает. О чём она думает? А хан Гирей обмотал голову полотенцем и лежит, курит трубку. Может быть, у него голова болит? Когда у папы сильно болит голова, мама даёт ему полотенце, намочит в горячей воде, выжмет, а папа положит его на свою лысину и ходит по комнате, и я вижу, что ему больно. И мне его жалко. Я своего папу люблю больше всех на свете.

Мне что-то расхотелось смотреть «Бахчисарайский фонтан». Я лучше полежу на кушетке и подумаю, как я его люблю. А потом прозвенит звонок, папа и Ира придут весёлые из учительской, и мы будем обедать. А Ксенька ещё раньше их прибежит, у неё во втором классе меньше уроков. А пока она не прибежала, я, пожалуй, ещё раз посмотрю в микроскоп и немножко повоображаю, будто я работаю.

Праздничным вечером

Наконец-то наступил праздник! Везде вывешены флаги, плакаты, а под портретами в коридорах и просто перед входом в дома прибиты пушистые еловые ветки. И повсюду этот особый запах, который бывает только на Октябрьскую: пахнет пирогами, первым снежком, ёлками.

Вчера после обеда я ходил провожать папу и Иру в избу-читальню на торжественное собрание, сегодня целый день гулял по улице, а сейчас мы отдыхаем. У нас в гостях учительница Вера Клавдиевна с сестрой Еленой Клавдиевной. Мы пьём чай.

Я всё на мёд налегаю. Я нарочно для этого и подсел к папе. Он мне подкладывает и подкладывает, а я ем и ем и будто ничего не замечаю. Я, конечно, замечаю, что мама поглядывает на меня строго, но при гостях она мне ничего не говорит. Она боится, что я опять объежусь. Я всегда объедаюсь Первого мая и в Октябрьскую годовщину.

Мама сидит за самоваром. По одну сторону от неё – Ира, по другую – Ксенька. А я рядом с папой и чуть-чуть прячусь за него, как будто я не вижу за ним маминых глаз. Напротив меня и папы сидят Вера Клавдиевна и Елена Клавдиевна.

Они разговаривают и разговаривают. О том, что было раньше, что теперь. Но я не очень прислушиваюсь к их разговору. Я просто наслаждаюсь.

Во-первых, все улыбаются, а Вера Клавдиевна порозовела, и папа такой оживлённый и шутит, и Вере Клавдиевне нравится, как он шутит. Во-вторых, на столе скатерть, вазочка с вареньем, тарелки – всё так замечательно. В-третьих, папа надел чёрный костюм и белую рубашку с галстуком; если бы он знал, какой он красивый сейчас, то он бы чаще так одевался, но он очень редко так одевается, а ходит каждый день в клетчатой рубашке и сапогах. А мама приколола красненькую брошь на грудь, глаза у неё синие, лицо смуглое, с румянцем, и волосы на голове высокие, чёрные. Они с папой всегда смеются, что маму считают папиной дочкой; он её всего на семь лет старше, но он седенький и с бородой, поэтому и считают.

Ну, и конечно, я из-за мёда наслаждаюсь. И ещё из-за того, что Ира притихла и переживает про себя, – мне интересно видеть её такой. Она потому сейчас такая, что ей не очей нравятся Вера Клавдиевна с Еленой Клавдиевной. Они, Ира говорит, какие-то блаженные старые барышни.

А мне они всё равно нравятся. Особенно Елена Клавдиевна. У неё седая, будто серебряная, голова и прямой нос. У неё одна рука плохо двигается, она болела параличом! Ксенька вчера ходила к ней помогать по хозяйству.

Сейчас Ксенька сияет голубыми глазами – тоже наслаждается. Уселась около мамы и берёт печенье за печеньем и медок, и ей ничего. Никто не глядит на неё строго. А лицо Иры, я вижу, начинает краснеть. Сейчас она скажет Вере Клавдиевне *бестактность*, как это называет мама. Она этого очень не любит.

– Юра, покажи нам, как на Троицын день пляшут, вдруг говорит мама.

Она из-за Иры меня это просит, я знаю. Ладно, мама, я тебя выручу. Я слезаю со стула, и папа слезает и отодвигается к фикусу, и все снова начинают улыбаться, даже Ира, и смотрят в ожидании на меня.

Ничего, пусть подождут. Я скидываю башмаки: босым плясать ловче. Елена Клавдиевна поворачивает серебряную голову ко мне. Ксенька замирает и перестаёт жевать! Сейчас они посмотрят, как пляшут на Троицын день, пусть полюбуются.

Я отвожу руки назад, приближаясь к Елене Клавдиевне, и останавливаюсь шагах в двух от неё. Потом, вздёрнув подбородок и чуточку выждав, начинаю отчаянным голосом, как пьяные парни, первую часть частушки:

Эх, раскачу катушку ниток
По зелёным по лугам.
Ой!

Тут я топаю пяткой и, разворачиваясь влево и уронив голову на грудь, иду по кругу, выделявая ногами что полагается.

Я прохожу два круга, сам себе подыгрывая языком, как на гармошке, потом снова останавливаюсь напротив немного оробевшей Елены Клавдиевны, отвожу руки назад и отчаянно-пьяным голосом, как те парни, допеваю частушку:

А если сделаешь измену,
По зубам наганом дам.
Ой!

Опять топаю пяткой и опять, свесив голову и чуть согнувшись, как парни, иду, приплясывая, по кругу и подыгрываю себе языком.

– Bravo! – говорит папа.

– Молодец! – выкрикивает Ира.

– Ладно аль нет? – спрашиваю я Веру Клавдиевну. Я выставляю одну ногу вперёд и будто курю: подношу два пальца ко рту и дую.

– Хорошо, хорошо, – растерянно произносит Вера Клавдиевна и делает такой смешочек: «М-м-м-м» – с закрытыми губами, как коза, когда подзывает козлёнка.

– Ещё? – спрашиваю маму.

Мама кивает, она уже хорошо на меня смотрит.

А Ира берёт балалайку, и в глазах у неё прыгают веселые чёртики.

И я опять пою, обращаясь к испуганной Елене Клавдиевне:

Будет, будет, покаталися
На конях вороных.
Ой!

И после пляски под Ирину балалайку:

А топере покатаемса
В вагонах голубых.
Ой!

Снова пляшу, а Ира подзадоривает меня:

– Вприсядку, вприсядку, Юрка!

А Ксенька орёт:

– Дробью!

Я иду вприсядку, и дробью – пятки у меня твёрдые, – и пою снова, всё больше пугая бедную Елену Клавдиевну:

Эх, дорогой ты мой товарищ,
Вострый ножик на тебя.
Ой!
А ты не первую – вторую
Отбиваешь у меня.
Ой!

И чтобы было совсем так, как на Троицын день, я закладываю пальцы в рот и свищу – я это тоже умею.

Елена Клавдиевна, кажется, близка к обмороку, Вера Клавдиевна делает своё: «М-м-м-м» – и немножко побледнела, мама сконфуженно молчит – может, я перестарался? А что папа молчит? А папа заслонил лицо рукой и беззвучно трясётся от смеха. А Ира продолжает наяривать на балалайке и улыбается, как Мефистофель. Вот она рада-то, я представляю!

– Ну, довольно, Юра, – говорит с улыбкой мама, – ты устал.

– А и нисколечко...

– Поди ко мне, ты сегодня спать не будешь.

– Да, – говорит, вставая, папа. – Раскачу катушку ниток... Картина точная!

И он своим особенным движением проводит ладонью по моей голове, как будто ввинчивает винтик. А Ксения мне потихоньку печенье в карман суёт. И Ира подобрела и не будет говорить *бестактность*. А Вера Клавдиевна с Еленой Клавдиевной потому так растерялись, что они к этому не привыкли: они всё время жили в Вологде, в самом городе, они к нам только этим летом переехали.

Сёстры, Люба и костыли

– А не хватит ли тебе, Юрка, дурака валять? – как-то говорит мне Ира.

Я нашёл на чердаке костыли, подтянул под себя ногу, зажмурил глаза и расхаживаю по комнате. Как наш секретарь партячейки, которому оторвало ногу на войне. Ксенька зажимает пальцами нос: от костылей несёт йодоформом (это такой зеленоватый порошок, он у папы есть). А мне так очень нравится ходить на костылях: упрёшься на них и переставляешь ногу, упрёшься и переставляешь.

– А что я могу, если я без ноги? – говорю я Ире, когда она ещё раз спрашивает, не хватит ли мне валять дурака.

– Перестань, маме будет дурно, – ворчит Ксенька. Выброси эту гадость!

Мама сейчас на кухне, а папа уехал. Он в выходной всегда уезжает или уходит пешком в дальние деревни. Он там проводит собрания о культуре животноводства и как надо правильно выращивать овощи. Я не люблю, когда папы нет дома, его я сразу послушался бы.

– А как это – валять дурака? – пристаю я к Ире, которая читает книгу.

– Отвяжись и не стучи.

– А я и так не привязан. Ты мне объясни, раз ты учительница – как это валять дурака? Какого дурака?

– Я пойду маме скажу, – грозит Ксенька. – Развёл такую вонь, даже голова заболела.

Она сидит над задачкой. У неё плохо решаются задачи, вот она и сидит в выходной день.

– Вонь не разводят, это цыпят разводят, – смеюсь я над Ксенькой. – А ты скоро заревёшь, потому что тебе всё равно не решить. Ты бестолковая, – добавляю я и поворачиваюсь снова к Ире.

– Юрик, иди к Кораблёвым, – говорит Ира. – Иди к Любе, к Володе, покажи им костыли.

Ой, хитра! Она нарочно ласковым голосом говорит, знает, что я люблю, когда мне говорят ласково. Если бы она не хитрила, то я бы сразу пошёл. Интерес мне какой с ними, с ворчуньями-сёстрами, сидеть!

– А леденцов дашь?

– Дам, дам, отвяжись! – Ира опять уткнулась в книгу.

– Не дашь, – говорю я уверенно.

Она просто забудет о своём обещании, я знаю. Она лишь тогда не забывает, когда скажет «честное комсомольское или когда, потеряв терпение, отколотит меня.

– Ладно, посмотрим, какое твоё комсомольское! – Я ей специально это говорю. Теперь, может, и не забудет.

А она вдруг захлопывает книгу и спускает ноги в чулках с дивана. Она всегда так внезапно перестаёт читать. Она всё делает внезапно и неожиданно: она порывистая.

– Знаешь, что я придумала? – Ира, приоткрыв рот, улыбается и моргает зелено-серыми глазами. – Я тебя возьму в физкультурный кружок. Тогда по крайней мере перестанешь балбесничать.

– Вы мне ещё долго будете мешать? – чуть уже не ревет Ксенька.

– Иди в папин кабинет, – говорит Ира. Ей, видно, делается жалко Ксеню-мученицу, и она ещё говорит: – Иди, Ксенюшка, я тебе потом помогу.

Ксения с покрасневшим носом молча забирает со стола задачку и тетрадку, а Ира опять, довольно улыбаясь, смотрит на меня. Ей самой нравится, что она насчёт меня придумала. Но я ей пока не очень верю.

– Правда, в кружок возьму, честное комсомольское, – говорит она. – А теперь катись, мне тоже надо позаниматься.

Я бы даже поцеловал её, какая она хорошая, но она этого не любит. Я только делаю Ире ручкой и, подхватив костыли, качусь из комнаты.

Я иду к Кораблёвым. Сперва я припрятываю костыли в коридоре, где стоит ларь с мукой, а потом стучу к ним в дверь. Это меня Анатолий Евлампиевич научил – стучаться в дверь. Он отец Любы и Володи. Он заведующий нашей школой.

Люба сидит за столом и рисует. Володя складывает кубики на полу – он на год помладше меня.

– Ты чего рисуешь, Люба? – спрашиваю я, усаживаясь рядом с ней.

Люба перерисовывает из книжки цветы.

– Дай листочек, я тебе тоже что-нибудь нарисую.

Она даёт мне листочек и толстый карандаш.

Я рисую ей корабли, с мачтами, с трубами, с чёрным дымом. Нарисую один и погляжу на неё. Потом нарисую второй и опять погляжу. Мне нравится смотреть на её лицо.

Мне её нос нравится. Я люблю, чтобы у людей был не толстый нос и не курносый. У Иры – курносый, и она, когда смотрится в зеркало, страдает. А у Ксеньки нос картошкой.

Я устал от их носов. Ещё я гляжу на Любин лоб и на глаз Я её люблю – из-за носа и из-за всего лица. Мне даже её голова нравится, хоть на ней короткие волосы, как у мальчишки.

Я бы потрогал её голову, но боюсь – рассердится. Она у неё тёплая, голова, и большая. У Володи тоже большая и тёплая, – у него я трогал. Они на своего папу похожи. У Анатолия Евлампиевича тоже большая голова, но не тёплая. У него очень чёрные глаза, и, когда он смеётся, они делаются узенькие, с огоньками.

Мы с Любой однажды вечером так сидели, сидели, и я чуть не уснул за их столом – всё не хотел уходить. Мы тоже рисовали.

Я рисовал свои корабли, а потом стал говорить ей слова, которые прочитал в журнале, где были нарисованы матросы. Люба сказала, что это неприличные слова – так ругаются. Я этого никак не мог понять, потому что у нас мужики, когда бьют лошадей, ругаются совсем не так. Но я больше не стал повторять этих слов, чтобы Любе не было неприятно. Я уже и тогда ее любил.

– А меня Ира возьмёт в физкультурный кружок, – говорю я.

– Хвастать нехорошо, – замечает Люба.

– Я ведь не хвастаю, а правду говорю. Ты ведь тоже говорила, что тебя твой папа учит играть на фисгармонии.

– У меня дело идёт пока неважно, – признаётся Люба. Надо всё время упражняться и развивать пальцы.

– А ты не можешь сейчас немножко поупражняться?

У них в другой комнате стоит чудесный инструмент, желтый, сияющий, – фисгармония. Я однажды слышал, как Анатолий Евлампиевич играл на нём. Так волшебю!

– Я в четыре часа буду заниматься, говорит Люба, – сейчас половина четвёртого. Тебе придётся подождать.

– Спасибо. А я тебе потом тоже что-то покажу, когда кончишь заниматься, принесу из коридора. А ты не хочешь поступить в физкультурный кружок?

– А что там, в этом кружке, интересного? Ты сам-то имеешь об этом представление?

Вот она, Люба, какая! Она станет учительницей. Как её мама, Лидия Николаевна. И папа, Анатолий Евлампиевич. Недаром она так похожа на своего папу-заведующего.

По правде, я не очень хорошо знаю, что интересного в физкультурном кружке. Интересно лишь то, как они выступали на школьном утреннике: строили разные пирамиды, мостики, стояли друг на дружке, вытянув руки.

– Он красивый, – говорю я Любе.

– Красивый, – соглашается она.

Она со мной иногда соглашается. И когда она соглашается, я её особенно люблю. Я бы её взял к нам жить.

– Тебе нравится эта ромашка? – показывает мне Люба свою нарисованную ромашку. – Правда, красивая?

– Красивая, – соглашаюсь я. Я хочу, чтобы она меня тоже любила.

А она вдруг смеётся и соскакивает со стула. И бежит в другую комнату, где стоит фисгармония. А я отправляюсь в коридор за костылями.

Я уже придумал развлечение: Люба будет играть на фисгармонии, а я под её музыку буду ходить на костылях. Как секретарь партячейки. Может, мне тоже когда-нибудь на войне оторвёт ногу, а я теперь наупражняюсь, и мне будет не страшно.

Я цыган

Мама приготовила мне чёрные трусики, рубашку с короткими рукавами и мягкие тапочки. Я уже три раза примеривал их. Я никак не дождусь, когда закончится последний урок у Иры, и она поведёт меня в свой кружок. Она сейчас занимается физкультурой с шестым классом на улице. Пойду-ка и я на улицу, чтобы не так тянулось время.

Надев пиджак и ушанку, я спускаюсь по чёрной лестнице на крыльцо. И сразу вижу Серёгу. Он-то меня пока не видит, стоит ко мне спиной и смотрит в открытую дверь сарая. Там папа занимается с седьмым классом, объясняет им про сельскохозяйственные машины, – я это с крыльца вижу, поверх Серёгиной головы.

Я всегда немножко стесняюсь, как папа объясняет. Я несколько раз подглядывал за ним во время урока, а однажды слышал его выступление на школьном собрании и смотрел на его лицо. Я очень страдал, когда смотрел, потому что папа как-то не так всё говорит и тянет: «Э-э-э». Скажет что-нибудь, и пока думает, что дальше сказать, у него получается: «Э-э-э». Я очень переживал из-за этого «э-э-э» и из-за того, что он говорит обыкновенными словами и не про то. Другие учителя на собрании говорили – «успеваемость», «посещаемость», «дисциплина», «обязаны», а папа вдруг придумал сказать, что ребятам надо почаще ходить в баню. При чём тут баня? А на уроках в классе он им объясняет про земляную грушу и томаты, которые тут никто не выращивает, и не только объясняет, но и даёт по кусочку попробовать. Какой же это урок? А ученики папу всё-таки очень любят, и мне это приятно.

У Серёги даже спина распрямилась – так пристально глядит он на машины. Он учится в шестом классе, физкультурой заниматься не может, вот и приплёлся сюда. Я видел однажды, как во время урока физкультуры он помогал папе укладывать в ящики кольраби. И зачем папа позволил ему, раз Серёга такой злюка?

– Серёга, – окликаю я, – а Серёга!

Он оборачивается, глядит на меня, но на его лице сейчас нет злости. Наверно, забыл, как я называл его живодёром.

– Серёга! – повторяю я, потому что он отвернулся.

– Ну чего тебе? – Он ступил на слабую ногу, качнулся и отодвинулся от двери.

– Серёга, хочешь, я тебе костыли подарю? – Мне хочется сделать ему приятное за то, что он больше не злится.

Серёга подковыливает к крыльцу, засовывает руки в карманы и рассматривает меня так, будто я зверюшка какая-нибудь или с неба упал.

– Ты знаешь кто? – потом спрашивает он.

– Кто?

– Ты цыган. Тебя цыгане-балагане подкинули твоим родителям, понял? Ты не своо отца и матери сын, ты выродок, подкидыш!

Самое противное, что Серёга говорит это спокойным голосом, уверенно. Так уверенно и спокойно не шутят. Может, он знает какую-нибудь ужасную тайну?

– Ну, что приумолк? Чего колупаешь нос? – похоже, уже злорадствует он.

– Врёшь ты всё, Серёга.

– Нет, не вру. Тебе-то, ясно, родители об этом не скажут. Жалеют тебя, несчастного подкидыша, а люди всё знают, всё, как оно есть.

И Серёга, даже не взглянув на меня, ковыляет за сарай, где они всегда курят.

А может, это и правда? Может, я цыган-подкидыш? Ведь только совсем недавно мы узнали, что Труся не родная наша сестра, а папа и мама взяли её у бедной женщины, когда Труся была маленькой. Теперь она взрослая, живёт не с нами и всё знает, а до этого ни она, ни мы ничего не знали. Наверно, и я такой же: у меня карие глаза, а у мамы и папы не карие, и мне ещё раньше говорили, что я на них не похож и что я цыганёнок.

Я по привычке прыгаю с крыльца и иду к лесу. Как это нехорошо и грустно, что мои папа и мама, оказывается, не мои! Как это обидно, неприятно! А где же они, настоящие мои папа и мама – цыгане? Зачем они меня подкинули?

Я иду дорожкой, которой летом ходил в кооператив, и удивляюсь, как всё стало близко. Вот и больница отсюда, с края поля, видна, а летом её не было видно, и стены церкви, и белые от инея мостки. Иней и на полёгшей жухлой траве, и на жердях, и на перепаханном поле, и на голых ветках берёз. Вот и тропинку мою снежком занесло, и мне хочется плакать. Зачем они мне сами не сказали? Зачем я такой?

Я слышу тонкий звонок, который долетает из школы, и мне делается ещё обиднее. Сейчас Ира отпустит учеников и будет собирать кружок. И будет спрашивать про меня: где Юра? И мама будет спрашивать, и Ксенька. И папа потом спросит. И, может быть, не дождавшись, они сядут без меня обедать, весёлые – им что? Был и нет. Был у них подкидыш Юрка – и исчез. Что им, жалко меня? Что я, родной им?

Я поворачиваю в сосняк, где заблудился летом. Теперь тут нет муравьёв и далеко всё видно, и всё белое от инея, но и теперь тут можно заблудиться. И пусть я опять заблужусь, пусть на меня нападут волки – кому я нужен? Я глотаю слёзы и утираю их, а они набегают опять, и в носу от них горячо, и я никак не могу с ними справиться. Ну и пусть!

Не знаю, сколько я так бреду наугад, как вдруг сзади зашелестели быстрые шаги, и, обернувшись, я увидел Иру. Я бросился бежать, но она сразу настигла меня, схватила и давай целовать в щёки и что-то приговаривать. И тут я ещё увидел за кустами угрюмое лицо Серёги.

– Дурачок ты, дурачок, – приговаривает Ира и вдруг, повернувшись к Серёге, резко говорит: – А ну, подойди-ка сюда!

– Да я чего? – выходя из-за кустов, бормочет Серёга и снимает шапку. – Он летось всяко костил меня – живодёром, подкулачником, костыли топере, как калеке, надумал дарить. Кабы не уважал вашего папаша – ни за что бы не повинился, только ради папаша. А так пускай убёг бы, шкет...

– Дурак! – вся покраснев, выкрикивает Ира, забыв, что она учительница. – Убирайся сейчас же!

Серёга, натянув шапку, отковыливает прочь, а Ира всё повторяет мне близко в лицо, что это идиотская шутка, что я настоящий сын папы и мамы и её, Иры, родной братик, и что надо торопиться, а то нас уже ждут ребята и девочки из физкультурного кружка.

У лесорубов

Я стою на голове, упираясь руками в пол и вытянув кверху ноги, и жду, когда Ира скажет: «Раз!» Из своего положения я вижу лица людей, которые, кажется, сидят вниз головой,

и слышу, как они хлопают. Один такой опрокинутый дяденька раскрыл рот – я и это вижу. Я могу так сколько хочешь стоять и всё разглядывать, и мне ни капельки не тяжело.

– Раз! – командует Ира.

Я подгибаю коленки и касаюсь ногами пола.

– Два!

Выпрямляюсь, а девочки соскакивают с плеч ребят.

– Три!

Девочки, которые делали «мостик», плавно взмахивают руками и распрямляют спину.

– Четыре!

Мы снова выстраиваемся в ряд, я – самый последний.

И снова хлопают дяденьки, которые сидят теперь вверх головой, и улыбаются, и громко от удовольствия переговариваются.

– Напра... во!

Мы, маршируя, уходим со сцены, а они всё хлопают и довольно гудят.

Это наш физкультурный кружок выступает у лесорубов. Мы уже выступили в школе и в избе-читальне, а сегодня главный заведующий из Вожеги попросил Иру поехать с нами в лес. Вот мы и приехали сюда показывать своё представление, чтобы лесорубам не хотелось справлять религиозный праздник Рождество.

На сцену выходит Драсида, Ирина подруга, а Ира в это время прилаживает бороду на резинке, парик и заворачивается в простыню. Она будет изображать бога Саваофа, а я – чертёнка. Пока она заворачивается, я уже влез ногами в рукава вывернутой шубы, завязал тесёмки и натягиваю шапочку с рогами. У меня есть даже хвост, как у настоящего чёрта. Теперь ещё меня подмажут сажей, и будет всё в порядке.

– Готов, нечистая сила? – голосом Саваофа спрашивает Ира.

– Сейчас, – пишу я, как чертёнок.

Я первый раз чуть живот не надорвал, когда Ира вырядилась Саваофом. Курносый нос, белая борода и босиком!

Я смотрю, как Ира приклеивает лохматые брови, напяливает на лоб старые папины очки, и одним глазом слежу за Драсидой. Та, румяная, с чёрной косой, зубки как сахар, декламирует:

Где-то с переборами тальянки
Песня угасала на ветру.
В эту ночь ему не до гулянки.
Трактористу Дьякову Петру.

Значит, ещё не очень скоро: ещё как будут его убивать, тракториста. Моё лицо раскрашивают сажей, а остальные девочки, отворачиваясь от ребят, надевают платья. Они уже свободны, теперь под конец выступим мы с Ирой.

Вот уж и Ира – Саваоф готова и поглядывает из-за занавески на Драсиду и я готов, и Нюра с книжечкой приготовилась нам суфлировать, если мы с Ирой забудем слова. Но мы их не забудем.

Где-то с переборами тальянки
Песня угасала на ветру, —

в последний раз грустно повторяет Драсида, и лесорубы притихли, и видно, что им жалко тракториста Дьякова Петра. И мне его всегда бывает жалко, когда я про него слушаю. Уж лучше бы он с девушками гулял в эту ночь, а не работал на тракторе!

Драсида умолкает, и все ей хлопают. А потом, когда перестают, она говорит, что мы сейчас покажем сценку «Случай на небесах».

Ира из-под наклеенной лохматой брови подмигивает мне, чтобы я не боялся (а я и так не боюсь), и выходит. И сразу там, где сидят дяди, проносится шумок и тихий хохоток.

– Где очки? Кто утащил мои очки? – спрашивает Ира голосом

Саваофа и расхаживает по сцене босая, будто бы разыскивая их (а они у неё на лбу).

– Пётр! – грозно говорит она.

– Ась? – раздаётся из-за сцены.

– Не видел ли моих очков?

– У сына сатаны, великий боже, спроси...

– А ну, подать сюда чертёнка! – приказывает Ира – Саваоф.

И тут выскакиваю я и начинаю жалобно мяукать и кружиться. И я уже сам не слышу своего мяуканья, потому что все громко хохочут. Ира – Саваоф сердито говорит, что я, исчадие ада, опять стащил её очки, и, переступая босыми ногами, хочет меня схватить, а я увёртываюсь, мяукаю и показываю чёрными пальцами на очки, про которые он, бог Саваоф, забыл, что они у него на лбу.

Я прыгаю из стороны в сторону, и хвост мой прыгает следом и бьёт по полу, и бог Саваоф наконец устаёт за мной гоняться.

– Апостол Пётр! – снова грозно говорит Саваоф, отдуваясь.

– Чаво?

– Да долго ль будешь ты лежать на печке, лежебока? Позвать ко мне Илью-пророка!

– О, Господи! – пишу я. – Пощади, всевышний! Не надо молнией меня разить, прошу покорно пощадить!

– Да? – удивлённо говорит Саваоф, широко расставив ноги и выпятив живот (там под простыней у Иры подвязана подушка). – Так где ж мои очки?

– Вот, всемогущий!

Я разбегаюсь, наклонив голову, как козёл, и тыкаю Саваофа в живот рогами. Он от неожиданности плюхается на пол, а очки слетают со лба и падают ему на колени, а я, мяукая и кувыркаюсь, убегаю со сцены.

И все опять хохочут и хлопают. И две девочки закрывают занавес.

Вот и всё наше представление.

Мне так нравится изображать чертёнка, что я бы ещё раз выступил. И я ещё некоторое время мяукаю и бодаюсь, пока Ира не приказывает всем надеть тулупы и выходить на улицу.

Мы одеваемся и идём к своим лошадям, усаживаемся в сани, поплотнее укутываемся и едем обратно.

...Хруп, хруп – топ, топ; хруп, хруп – топ, топ...

Покачивается над лошадиной гривой дуга, льётся лунный свет, из наших ртов вылетают клубочки пара.

Мы едем по какому-то длинному ледяному коридору – или это богатыри встали плечо к плечу, обсыпанные снегом, с заиндевевшими бородами? Это ели. А может, и уснувшие богатыри в островерхих шлемах, могучие, как дядька Черномор.

Хруп, хруп – топ, топ делает лошадь, выбрасывая ногами, и круглая спина её сияет от луны, и подпрыгивает, и мешаешь смотреть вперёд.

На моём меховом воротнике образовались уже голубые сосульки, но самому мне тепло, только ноги немножко затекли от тяжести. А я всё равно не шевелюсь, я смотрю и смотрю, и иногда мне кажется, что мы не едем, а скользим на месте, и лишь в ушах это «хруп, хруп», и поют полозья, и временами сани заносит, или вдруг они будто начинают двигаться в обратную сторону.

– Не спать, не спать! – раздаётся голос бога Саваофа, и я знаю, что это Ира и что она слева от меня, а справа Драсида, а внизу на соломе Ксенька и Нина Чувакина давят мне на ноги, а кучер Митрич впереди, – знаю и всё-таки вижу перед собой белую бороду Саваофа.

– Но-о! – прикрикивает Митрич, взмахивает серебряным кнутом и сбивает с неба острую звёздочку. Она, светленькая, царапнула небо и пропала.

Куда пропала?

– Не спать, не спать! – повторяет Ира – Саваоф и тормозит меня.

И я слышу низкий голос Драсиды, запевающей:

Мы кузнецы, и дух наш молод
Куём мы счастья ключи...

Ира сразу подхватывает:

Вздымайся выше, наш тяжкий молот,
В стальную грудь сильнее стучи, стучи, стучи!

Ксенька и Нина чуть освобождают мои ноги, поворачивают к нам головы в опушённых инеем шалях, и песня делается ещё громче:

Ведь после каждого удара
Свободней взмах, сильнее грудь...

Тут уже долетает сзади, из других саней, и звучит вместе с нашими голосами:

И со всего земного шара
К нам угнетённые идут, идут, идут!

И вот уже нет сна, нет Саваофа и засыпанных снегом богатырей, а есть зима, луна, лесная просека и мы, тёплые в своих тулупах, едущие с замечательной песней к себе домой.

Опять собака

Собака меня не забыла. Стоило мне только появиться на этой дороге, как она опять, выскочив из-за крыльца, покатила мне наперерез. Я думал – сидит в сенях или дома в тепле или забыла про меня, чёрная злая дура. И что я ей дался?

На этот раз я останавливаюсь. Я хоть и боюсь её, но теперь мне ещё и очень обидно: что она придирается? Я стою и смотрю, как она, загнув хвост, приближается ко мне.

– Что тебе надо? – спрашиваю и гляжу на её чёрную, с жёлтыми подпалинами морду.

Она перемахивает через снежную канаву и встаёт посреди дороги носом ко мне. Как волк!.. И надо же было снова *тут* пойти! Ведь я уже другой дорогой ходил на почту, в обход.



– Я тебе что-нибудь плохое сделал? – говорю ей и смотрю прямо в её глаза.

А она вдруг садится, задирает голову и судорожно открывает рот. Будто и вправду захотелось зевнуть.

– Скажи, сделал? – повторяю я, хотя, конечно, понимаю, что она ничего сказать не может. Но я нарочно говорю с ней, как с человеком: они иногда понимают. – Не сделал, – отвечаю сам за неё. Я уже чуть-чуть смею, потому что она сидит и не трогает меня. – Ну, так и ступай себе. Слышишь?

Она кивает и глядит на меня умными глазами. И правда – понимает. Жалко, что у меня нет с собой хлеба, мы бы тогда совсем поладили.

– Я тебе потом принесу хлеба...

Взгляд у собаки становится внимательнее и острее.

– Честное слово!

Я делаю шаг в сторону – хочу обойти её, но она вскакивает на ноги и загораживает мне дорогу: не верит.

– Я же сказал «честное», – объясняю ей. – Пусти, пожалуйста!

Она мигает и отворачивается от моих глаз, но не уходит.

– Ну и дура! – разозлившись, говорю я.

Пусть кладёт на мои плечи свои лапы и шагает за мной. Меня это нисколечко не волнует!

Я прохожу мимо неё, а она – вот удивление-то! – начинает дружески повилывать хвостом. Вот чудо-то! А что, если я ещё раз остановлюсь и попробую погладить её? Что тогда?

Но я больше не останавливаюсь. Я и без того рад, что всё обошлось. И мне ясно почему: потому что я поговорил с ней по-человечески и пообещал хлеба. И я принесу ей после обеда хлеба, не обману.

Мне так становится легко, и я так смею, что оборачиваюсь. А собака будто только этого и ждала: сорвалась с места и прыжками ко мне. И тогда, сам не знаю как, я бросился бежать.

Я несусь к крыльцу школы, другой школы, где учится Ксения, и слышу позади себя мягкие скачки и лай, потом она обрушивается на меня сзади, и я лечу кувырком. И сразу же раздаётся громкий визг и тонкий жалобный вой; я приподнимаюсь и вижу, что собака, поджав заднюю ногу и сильно переваливаясь, улёпётывает к овинам, а на дороге стоит весёлый председатель из сельсовета, а в обледенелой канаве валяется здоровенная палка от городков.

– Нос-то цел? – посмеиваясь, спрашивает он. – Смотри, больше не бегай от собак. Никогда не бегай!

И, надвинув шапку на смеющиеся глаза и сунув руки в карманы полушубка, он шагает дальше – в кузницу или на скотный двор. А я, ничего не ответив ему, отряхиваюсь и иду туда, куда и шёл, – на почту.

Собаку мне жаль: она, может, просто хотела со мной поиграть по-своему, а он раз – и перешиб ногу. Как тогда летом: раз – и убил из ружья галку. Ему бы только всех бить...

У меня что-то испортилось настроение, даже на почту идти расхотелось. Тогда, пожалуй, я загляну в тот с заколоченными окнами дом, рядом с сельсоветом. Я пересекаю улицу и останавливаюсь возле обледенелого крыльца. Мне страшновато туда заглядывать, потому что там вор.

Я всё-таки поднимаюсь на крыльцо, потом – в длинные холодные сени, а он справа заперт. Мне жутковато, что он сидит за стеной, и его не слышно. Что он там делает? Там темно и тихо; я на цыпочках подбираюсь к двери с тяжёлым замком и слушаю. Вот от этого и страшновато – что ничего не слышно и что он там закрыт в темноте. А вдруг он сейчас выскочит и топором меня?

Я на цыпочках бегу обратно, а сельсоветский сторож бранится. Они его, этого вора, повезут в Вожегу, его милиционер повезёт, но я не хочу на это смотреть. Мне как-то неприятно: я воров побаиваюсь. Они летом два раза папины огурцы воровали, ночью, и истоптали люпин – думали, что горох. Они все бледные, серые, потому что не спят ночью, – я себе их так представляю. И этот вор тоже, наверно, серый: он ночью жмых хотел украсть со склада кооператива, но залаяла собака, и его схватили. Я теперь пойду в избу-читальню, посижу на скамейке и подумаю обо всём этом.

Зима красивая. Деревья – будто огромные одуванчики; всё белое и скрипит. И дым из труб хорошо виден: утром он голубой или розовый, а вечером синий, а когда уже звёзды, то чёрный и кажется, что это ведьма вылетает на помеле. Мне только не нравится, когда очень сильный мороз: тогда собаки бездомные околевают, а воробьи коченеют и падают, как камушки. И не успеешь оттереть нос, как хватает за подбородок или за щёку. Я зимой больше люблю лето, а летом – зиму. Я тру рукавицей нос, но за подбородок пока не хватает: сегодня мороз не такой сильный.

И кругом разные звуки: то поскрипывание, когда идут по дороге, то снег начинает петь, когда его топчут на тропе, то треснет где-то бревно, то провизжат полозья на повороте.

Я иду к избе-читальне и думаю про свою собаку и про вора. Ведь это, конечно, она залаяла ночью склад-то недалеко от почты, а она всегда около почты бегаёт. Как же это несправедливо, что председатель ей ногу перешиб!

Я выхожу, задумавшись, на середину дороги и совсем не замечаю лошади. Я едва успеваю отскочить – она с топотом пронесётся мимо, окатив меня ледяным ветром, а дядька из саней на меня кнутом, да ещё нехорошим словом, что я так зазевался. И следом вторая лошадь, а в розвальнях женщины громко смеются. Одна привстала и кричит мне:

– Парнёк, догоняй, мы тебе скусного дадим!

И валится с хохотом на солому в ноги к другой женщине.

Они пьяные. Это очень неприятно, когда пьяные женщины. Когда мужики пьяные, то они только поют и крепко пляшут или целуются, а если ломают жерди и дерутся, так ведь они на то и мужики. А когда женщины – это непонятно и ужасно как-то нехорошо. И ещё

неприятно, что второй уже день празднуют Рождество: видно, пока не подействовало на них наше представление.

Я вот что решил: раз так всё получилось, я зайду в кооператив и куплю пряник. Для собаки. Я чувствую себя тоже виноватым – вот и дам ей пряник: у меня есть три копейки.

И я сворачиваю на поющую тропу к заиндевелым дверям, от которых сегодня очень пахнет водкой, холодновато так...

Как мы с Ксеньей болели

Я придумал для Ксении ласковое имя: «Кенарочка». Дуня смеётся: «Кака така Кенарочка?» – А Ксене оно нравится. Мы с ней тоже смеёмся над Дуней, потому что она немножко хвастунья. Она каждое утро заглядывает в растопленную печь и сама себя хвалит: «Ай да Дунька, всё у Дуньки кипит: картошка кипит, суп кипит!» Лицо её от огня делается красным, светленькие глаза сощуриваются и смеются: довольна, что всё у неё кипит! Она очень хорошая, Дуня, только она конфузится, когда папа называет её Авдотьей Максимовной. А почему конфузится: ведь ей уже тридцать четыре года, ведь она не девочка?

Она опять живёт с нами. Папа и мама уехали в Вологду. Ира занимается с неграмотными (называется «ликбез»), а мы с Ксеньей сами не умеем обряжаться. Вот опять и позвали Дуню. А нам с ней хорошо!

У нас теперь зимние каникулы. Тихо так стало в школе и непривычно: ни звонков, ни шума, ни физкультурного кружка.

В сумерки я часто лежу с Дуней на печке, она рассказывает мне сказки и поёт нескладухи:

Вы послушайте, робята,
Нескладуху вам спою.
Вор-воробышек летает —
То мальчишечка шалит.

Уж верно – нескладуха! Ни склада, ни лада. Я больше частушки люблю. Дуня меня такой научила:

Ягодиночка на льдиночке,
А я на берегу.
А перекинь, дружок, тесиночку,
К тебе перебегу.

Но всего лучше, когда она рассказывает про домового и про старого-престарого «старичка», который в Куровском бору пугает девушек.

Она когда рассказывает это или про старинных людей, то я сразу вспоминаю князя Шуйского. Дуня говорит, что он не Шуйский, а Комкин, живописец-богомаз из Перепечихи, она с ним знакома.

Сейчас, дожидаясь Дуни, я растянулся на печке и смотрю в потолок.

– Юр, будет тебе бока греть! – ноет Ксения. – Погляди, Люба с Володей какую бабу скатали.

Она дома скучает, Кенарочка, она не любит лежать на печке.

– Ладно, так уж и быть, – отвечаю ей. Я теперь с ней очень дружу, пока папы и мамы нет.

Достав из-за трубы горячие валенки, я спускаюсь на пол, надеваю свою шубку со сборками и жду, когда Ксения обмотается платком.

– Мотрите, недолго, не простыньте! – напутствует нас Дуня.

Чудачка она! Разве можно простыть, когда на дворе так тепло, что даже с крыши капает? Мы бежим к снежной бабе, которую лепят Люба и Володя, и начинаем помогать им. Жаль только, что нет морковки, а то какой бы чудесный нос получился!

– Юра, глупости делаешь, – говорит Люба. – Зачем ты ей в уши палки суёшь?

У меня в последнее время испортились отношения с Любой: она всё хочет, чтобы ей подчинялись, а я этого не хочу. С какой стати!

– Она будет доктор, Люба, – говорю я. – Пусть она будет доктор, ладно?

– Она снежная баба, а не доктор.

– А мне хочется, чтобы доктор!

– Сделай себе другую, и пусть она будет, кем ты хочешь.

Пока я думаю, что ответить, в окнах зажигается свет, потом слышится строгий голос Любиной мамы, Лидии Николаевны.

Вот и хорошо, что она зовёт своих ребят домой, – тогда уж я сотворю из их бабы что-нибудь интересное.

Люба и Володя, отряхиваясь, бегут к крыльцу, а Ксения хватается меня за руки.

– Не надо, Юр, палкой, это нечестно.

– Ну, тогда я из тебя сделаю снежную бабу!

Мы с Ксеньей боремся, хохочем, катаемся в снегу – так здорово! – а сверху из окон падает жёлтенький свет, и мы знаем, что дома нас ждёт Дуня, горячий самовар и некому нас поругать.

– Вот теперь ты снежная баба, Кенарочка! – кричу я.

– А ты дед-мороз, – хохочет Ксения.

И мы снова катаемся в снегу, и даже когда он попадает за шиворот – всё равно очень приятно и весело.

Мы очень довольные возвращаемся домой. Правда, Дуня нас тотчас выпроводила, чтобы получше отряхнулись, и потом поворчала, но это не испортило нам настроения. Мы даже не захотели пить чай, а ещё повозились, и Ксения предложила идти спать, чтобы поскорее настало утро.

Утро пришло, но какое-то странное. Ира будит меня, а я не могу поднять головы. Ира дотрагивается холодной ладонью до моего лба и вдруг отдёргивает руку, словно обожглась, и вскрикивает, и бежит к Ксене, которая тоже ещё в постели, и там Ира вскрикивает.

– Дуня, у них жар! – кричит Ира.

Я шупаю свой лоб, но никакого жара не чувствую. У меня только очень тяжёлая голова, и мне неохота вставать.

– Дуня, как же так? Ведь у них сильный жар!

Я поворачиваюсь и вижу в открытой двери растерянное лицо Дуни. Вот тебе и склада-несклада! Наверное, мы с Кенарочкой заболели.

Ира просит Дуню не выпускать нас из постели, одевается и бежит куда-то. Я слышу, как часто стучат её каблуки по лестнице.

Через некоторое время я вновь просыпаюсь – я даже не заметил, как опять уснул, – вновь от Ириноного голоса и ещё от одного, мужского. Потом в папин кабинет, где мы с Ксеньей лежим, входит высокий дядя в белом, и я узнаю в нём того доктора, с которым встречался летом в больничном саду, – я его по голой длинной голове узнаю. Я сразу испугался.

Я смотрю на Ксенью, на её разметавшиеся по подушке волосы, и мне Ксенью жалко; на Ирино испуганное лицо смотрю, и Иру мне жалко; и самого себя жалко. Что же с нами будет теперь?

Вот они уже загнули мою рубашку и прикладывают прохладную трубку и велят дышать, а мне дышать больно: колет в боку. И в горло ложечку перед этим сунули, я чуть не подавился.

– Воспаление лёгких, – говорит доктор.

– Воспаление лёгких, – повторяет он, когда то же самое проделал над Ксеньей.

Вот тебе и снежная баба, вот тебе и Кенарочка! А ведь так хорошо было вчера, такое веселье, и этот жёлтенький свет, падавший из окна, – он так и стоит перед моими глазами...

И опять жёлтый свет. Полночь. Посреди потолка – жёлтый круг, а дальше он всё слабее и слабее, будто золотые иголки понатыканы, а в углах темно. Это от лампы с прикрученным фитилём. Я поворачиваюсь к Ксене – она тоже приоткрывает глаза, смотрю на Иру – у неё глаза закрылись, и она всхрапывает. Вот счастье-то!

Я ещё раз, для верности, взглядываю на Иру. Она сидит на троне, – вообще-то она сидит в папином кресле, придвинутом к нашей кровати, но сейчас мне кажется, что на троне. Она, бедная, намаялась с нами за день и уснула, точно – уснула.

Я переглядываюсь с Ксеньей, и мы тихонько сдвигаем с себя одеяла. Их, наверно, штук пять, да ещё сверху папин тулуп. Мы лежим рядышком, мокрые как мыши. Мы обмотаны компрессами и затянуты крест-накрест тёплыми платками. Мы так ужасно вспотели, что нельзя терпеть.

– Побольше, побольше, – шепчет Ксения, чтобы я побольше её открыл, и Ира пробуждается от её шёпота.

Ира, как коршун, бросается на нас, снова натягивает все одеяла и начинает плакать. Не понарошку, а всерьёз. Ира – и вдруг... плакать! Это так необычно, что мы с Ксеньей мгновенно утихаем.

– Что же вы, свинтусы, делаете? – дрожащим голосом спрашивает Ира. – Вы что – умереть хотите, бессовестные?

И слёзы у неё текут по щекам. Мне до того становится её жалко, Ирочку, что она, как маленькая, плачет, до того жалко, что я обещаю ей никогда больше не открываться.

А она ещё долго хлюпает своим узеньким носом и подозрительно глядит на нас. Она нарочно положила на кресло две толстые книги, чтобы сидеть повыше и лучше видеть, сидит на своём троне и подозрительно глядит на нас мокрыми глазами.

А потом скоро её веки опять слипаются, и мы с Ксеньей опять тихонечко, совсем немножко, сдвигаем одеяла. И снова плачет, как девочка, Ира и называет нас бессовестными поросятами и укутывает ещё жарче.

И так почти всю ночь.

Я уж после и одеяла сдвигаю только для того, чтобы она поплакала. Очень приятно почему-то, что она сейчас не боевая комсомолка, не учительница, а просто сестра, девочка, которая нас очень любит.

Папа и мама

Теперь я расскажу про папу и маму. Мне было вчера так неловко это видеть! Мама сидела в постели, плакала и всё говорила, что она двадцать семь лет для папы была хорошая и умная, а теперь вдруг поглупела, а папа стоял на коленях, целовал у неё руку и просил прощения – я это видел из его кабинета. Я проснулся, потому что услышал, как мама громко плачет и говорит, что она двадцать семь лет была хорошая. Они думали, что я сплю – когда мы с Ксенькой поправились, я стал дольше спать, – а я проснулся и увидел. Раньше я ни разу такого не видел. Это было так... так неловко!

Я уверен, что во всём виновата Петровна. Как только в селе праздники – Рождество, масленица или ещё что-нибудь, Петровна – глупая какая-то! – каждый раз выражается и приходит спрашивать у мамы, хорошо ли. Папе это всегда не нравилось. Она прошлый год на Троицын день пришла к нам в шляпе с разноцветными перьями, а мама улыбнулась и сказала, что ей к лицу. А папа потом спросил маму: «Зачем?» А мама ответила: «Пусть себе, если ей нравится». Эту шляпу Петровне подарила ещё до революции купчиха Гладцинова, а Пет-

ровна столько лет берегла её подарок в сундуке! А позавчера Петровна явилась накрашенная и в белых перчатках.

Ксенька как увидела её, сразу схватилась за живот. А мне так ни капельки не смешно. На ногах валенки, на руках перчатки из тонкой кожи, и щёки намазаны – ведь это чудело какое-то! Зачем? А мама своё: «Пусть потешится». Я согласен с папой, что это нехорошо. Он молча ушёл в кабинет и долго работал. Ладно ещё – не вспылел.

Наш папа вспыльчивый. Он сегодня после уроков сунул мою голову к себе в колени и отодрал меня ремнём. Из-за Ксеньки. Из-за того, что я её опять бил в грудь. Мне до того стало обидно, что я снова побежал в лес, а он побежал за мной, и мы бежали по снегу – я впереди, а он сзади... Ведь это он, папа, выпорол меня! Пусть бы Серёга, или Ирина, или даже мама – я бы ни за что не заревел. Но – папа! Это было невыносимо. Мне хотелось провалиться в какую-нибудь яму, или чтобы меня немедленно разорвали волки, или чтобы тут же умер – пусть бы он тогда почувствовал! И папа, надо сказать, почувствовал: когда он меня поймал и понёс на руках домой, у него под очками блестели слёзы, а потом в своём кабинете он дал слово никогда не наказывать меня ремнём и подарил мне записную книжку.

Он очень отходчивый, папа: вспылит и сразу отойдёт и снова добрый. Как и я, мама говорила.

А мама не такая. Она не вспыльчивая. Она терпеливая, но тоже может рассердиться. Мне от неё тоже один раз попало. И тоже из-за Ксеньки, что я её бил в грудь, – это было ещё до того, как папа с мамой уезжали в Вологду. Мама стирала, а Ксенька вертелась на кухне, пекла себе оладьи: взяла мучки, сметанки, сахару, замесила и пекла на плите. Я попросил у неё, а она дразнится и не даёт. Значит – разве я виноват, что мы подрались? И почему это именно в грудь её нельзя бить? Ну и что же, что она подрастающая девочка? Она противная и вредная, и ей можно вкусненькое, а мне нет? Это справедливо? И я опять её стукнул, хотя мама меня и предупредила, и тогда мама стукнула меня самого по голове доньшком ковша.

По голове и ковшом! Это было что-то такое ужасное, что я, едва сдерживая слёзы, ушёл в другую комнату, спрятался за фикус и начал колотить себя кулаком в нос. И хоть было очень больно, я добился своего: из носа потекла кровь, и я помазал ей затылок. Пусть она теперь полюбуется, что натворила своим ковшом! Я лёг лицом вниз на диван и громко застонал.

Ксенька перепугалась, заревела и стала совать мне оладьи, а мама только сперва испугалась, а потом поворошила мои волосы и ушла стирать. Может, она подумала, что я краской измазался?..

Они в чём-то похожи, а в чём-то не похожи, папа и мама. Я люблю их одинаково, только папу чуть побольше. Когда меня спрашивают, кого я больше люблю, я отвечаю: одинаково. А сам понимаю: не одинаково. Когда мне хочется, чтобы меня пожалели, я бегу к маме, и когда у меня болит живот или вдруг захочется есть – к маме, и мне с ней легко. А когда

надо что-нибудь спросить – обязательно к папе, и, если колено расшибу до крови – тоже к папе, он всё знает, и я его не могу обманывать. А маму иногда могу...

Сейчас мы уже все помирились, напились чаю, сидим за большим столом и слушаем, как читает папа. Даже Ира сидит.

На столе лампа с зелёным абажуром, папа держит одной рукой книгу, другой рукой – очки, а в глазах его усмешечка.

– «Том!

Ответа нет.

– Том!» —

читает папа, а мама улыбается. Папа читает выразительно, но мне это не очень нравится. Я такие книги люблю сам читать, я тогда лучше представляю. И про этого Тома я потом сам прочту – подумаешь, убежал от своей тётки, герой! Я больше про войну люблю читать. Как их рубали. Вот там герои так герои!

Но я сижу тихо. Потому что все сидят тихо, даже Ира. Им нравится слушать.

– «Привязали бычка на верёвочку...» – читает папа.

А разве бычков привязывают на верёвочку? На верёвочку привязывают коз, а иногда коров, вобьют в землю колышек и привяжут к нему, а они ходят вокруг и щиплют траву. А когда наедятся, лягут, перевалив живот, и немного погодя начинают жевать жвачку. Глаза сонные, добрые; отрыгнут и пережёвывают неторопливо. Это коровы. А у коз глаза ехидные, у них зрачок не круглый, а поперечный, как палочка, и жуют они набок и быстро.

– А почему они набок жуют? – спрашиваю я.

– Кто? – останавливаясь, спрашивает папа. И все с удивлением смотрят на меня, даже Ира.

– Козы, – говорю я.

– Какие козы? – всё более удивляется папа.

– Ну, козы вообще, – объясняю ему.

Тогда папа кладёт книгу на стол, а Ксенька прыскает, а Ира за ней, а мама за Иррой, а потом папа, а потом и я заодно. Мы любим все вместе посмеяться. А абажур отбрасывает зелёный тёплый свет, и самовар на столе ещё тёплый и зелёный от абажура, и все они такие тёплые, зелёные – папа, мама, Ира, Ксенька, – и я их очень люблю, и мы все такие, такие счастливые!

Он не умрёт

И вот моего папу несут на руках. Его несут какие-то хлопотливые мужички, несут на тулупе, топают намёрзшими валенками, деловито переговариваются. Его в поддёвке, в шапке со съехавшим башлыком кладут на кожаный диван – неподвижного папу.

Забившись в угол кабинета, я с ужасом, с дрожью гляжу на то, как мама, Ира и доктор суетятся вокруг него, снимают башлык и шапку, подкладывают ему под голову подушку... Он живой? Если подушка – значит, живой? Он не умер?

– Мы-а... – вдруг раздаётся не то стон, не то плач.

– Женя, успокойся... Женечка... – говорит мама, и я чувствую, что она вся дрожит.

Доктор сердито гудит что-то себе под нос, выкладывает на стол пузырьки и склянки, а Ира, расплёскивая воду, ставит перед ним стакан, и руки её трясутся, и она опять бросается к неподвижному папе и помогает его раздевать.

– Ю а... – снова раздаётся как стон или плач.

– Юра, подойди к папе, – притворно-спокойным голосом говорит мама. – Всё хорошо будет, не волнуйся, всё хорошо, Женечка, – говорит она ему, притворяясь.

Значит, так надо. Надо, чтобы папа не волновался. Надо, чтобы он думал, что всё будет хорошо.

Сдерживая дрожь в коленях, я подхожу к папе и вижу его один полуприкрытый, а другой скорбный и немножко свирепый глаз. Я вижу его губы – они влажные и искривлены, – и мне страшно видеть его таким, моего весёлого, вспыльчивого, доброго папу.

Я улыбаюсь, потому что надо, чтобы он не волновался, надо, чтобы он думал, что всё будет хорошо, сейчас надо притворяться, и я улыбаюсь. И я вижу всё время его скорбный и немножко свирепый глаз, который глядит на меня, вижу, как из уголка его выплывает и быстро скатывается в седую бороду слеза.

– Ну, а теперь иди, Юра, – говорит мама. – Мы мешаем доктору... Всё будет хорошо, Женя, – говорит она папе, – всё хорошо.

А сама внутри дрожит, я чувствую. И как-то суетится, стоя на месте. И Ира суетится, покусывая губы. И доктор сердито молчит, подходя со стаканом в руках к дивану.

Я тихонько выхожу из кабинета, кидаюсь к заплаканной Ксене, обнимаю её за шею и обещаю никогда, никогда больше её не бить.

Лишь бы он не умер. Лишь бы он остался живой. Лишь бы он не умер, папа. Лишь бы он жил, наш милый, самый лучший, самый умный, самый добрый, чтобы он остался живой, наш папа!

Папу разбил паралич. Он там очень разволновался. Я это потом всё узнал. Он был на собрании агрономов и председателей в Вожеге, и там очень спорили. А папа никак не соглашался. Лучше бы уж он согласился! У них телята стали подыхать, потому что неправильно кормили и на скотном дворе был холод и сквозняки, а некоторые работники говорили – мы не виноваты. А папа говорил – виноваты. Папа говорил – надо было слушать советы агрономов; надо было своевременно заготовить корма и починить дворы, а не пьянствовать, тогда телята не подыхали бы. А председатель из нашего сельсовета, когда услышал насчёт пьянства, сказал, что он, папа, оговаривает. А папа вспылел и сказал ему что-то такое, отчего все засмеялись. И тогда председатель разозлился и обозвал папу барином. На собрании поднялся шум, а папа уже ничего не мог ответить: его разбил паралич, и он упал. Это всё на другое утро рассказывал маме секретарь партячейки. Он пришёл к нам узнать, как чувствует себя папа, и очень его хвалил, а председателя из сельсовета называл загибщиком и пьяницей, которого скоро уволят.

Мама слушала секретаря и плакала, а потом стала умываться, чтобы не было заметно...

И сейчас всё приходят и приходят к нам узнавать. И учителя, и дяди-мужики, и учащиеся, и женщины. И доктор опять был и сказал, что у папы крепкое сердце. Я немного повеселел, что у папы крепкое сердце, отрезал себе хлеба и пошёл на улицу.

Я сейчас к собаке иду. Я её буду каждый день кормить хлебом, пока папа не поправится. И потом буду её кормить всегда. Лишь бы он поправился. Он должен поправиться, потому что у него крепкое сердце, доктор сказал. Этот доктор хороший, и я привык к его длинной голове.

Снег на дороге желтоватый и рыхлый. Жерди уже обтаяли и чёрные.

А лесок туманный, и небо невысокое и туманное, и галки громко кричат. Они весну чувствуют.

И на кузнице чувствуют весну, там теперь с утра до ночи звон-перезвон: чинят плуги и бороны.

Я останавливаюсь напротив дома с высоким тесовым крыльцом, где живёт собака, и слышу, как из школы доносится звонок.

Я немножко подожду, когда они все пройдут, и опять вернусь сюда.

Собака что-то не выскакивает, но я её дождусь. Я пока захожу за кузницу.

Она похожа на баню с каменкой, наша кузница. Она вся чёрная, а внутри – горка огня, и там лежит горячее светлое железо. Когда его бьют, оно легко мнётся, и с него что-то сыпается. Его иногда бьют двумя молотами по очереди, а под конец – одним и поворачивают длинными щипцами, а потом опускают в бочку с водой, и из бочки с шипением вылетает пар. Мы все кузнецы своего счастья, а не только они. Это папа сказал. Лишь бы он поправился.

Я слышу голоса ребят, которые проходят мимо по дороге. Я не хочу, чтобы они меня спрашивали, как он себя чувствует, я не хочу смотреть на их жалостные глаза. Он всё равно поправится.

Я снова выхожу на дорогу поближе к высокому крыльцу, но собаки нет. Но он всё равно поправится. Если я дождусь собаки, то он обязательно поправится. Тогда я её дождусь обязательно.

А собаки всё нет.

По дороге ковыляет Серёга.

– Правда, твой отец помер? – Он меня спрашивает грубо и подтягивает ногу.

– Не помер и не померёт, – говорю я. – У него крепкое сердце, доктор сказал.

– Побожись, – с угрозой говорит Серёга.

– Вот! – Я снимаю шапку и дотрагиваюсь пальцами до лба.

– Айда, – говорит Серёга и ведёт меня снова за кузницу. Он роется в своей полотняной школьной сумке и достаёт со дна облепленный хлебными крошками кусок сахара.

– Бери!

Я засовываю сахар за щёку, а Серёга вынимает мятую пачку папирос и протягивает её надорванным концом мне.

– Покури с сахаром, полегчает... Или ладно, не кури. Мал ещё.

Он суёт себе в белые зубы папироску, а глаза у него, я вижу, серые и совсем, совсем не злые.

И я опять ухожу на дорогу ждать свою собаку.

Талая земля

*Как на талую на землю
Вытала пороша.
Что по этой по пороше
Шёл мальчик хороший...*

Из игровой песни.

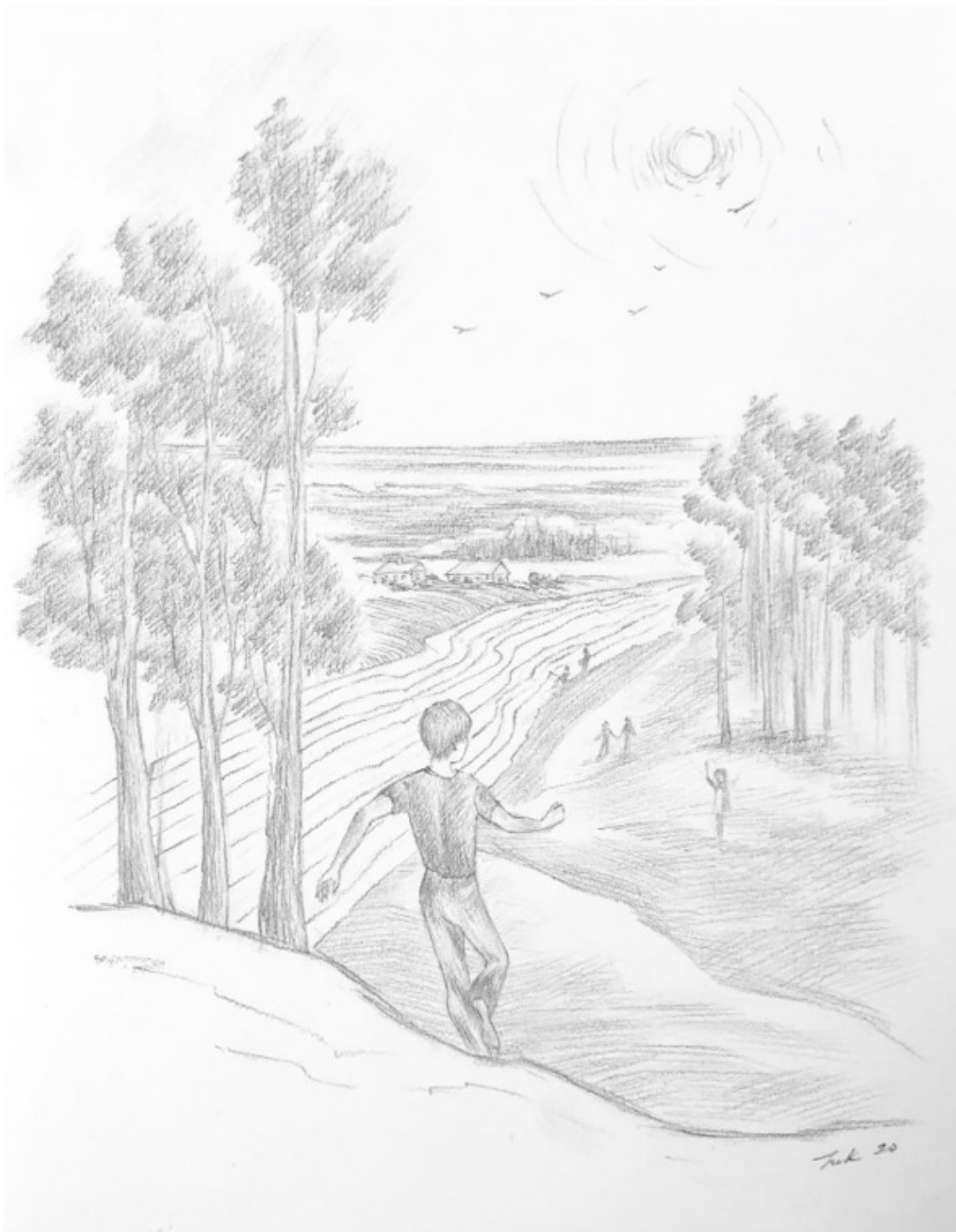
Семь лет спустя

Мы теперь живём на небольшой железнодорожной станции Явенга в восемнадцати километрах от Троицы – вверх по Кубене.

Папа, как и прежде, учительствует, мама дома. Ира тоже учительствует, только очень далеко – под Псковом. И Ксения учительствует: после семилетки она поступила на заочное отделение Вологодского педучилища и преподаёт в младших классах в отдалённом селении. И остались мы втроём – папа, мама и я.

К Явенге я долго не мог привыкнуть. Она вся какая-то чересчур пёстрая: тут и станция, и колхоз, и клёпочный завод, и лесопункт. И народ пёстрый: местные жители перемешаны с приезжими. И дома пёстрые: избышки, бараки и лишь изредка настоящие крестьянские избы. То ли дело Троица, там хоромы по сравнению со здешними поселковыми хибарками! Мне первое время особенно приезжие, несевьяне, не нравились. Они все или «балакают» – говорят: «бачишь», «шукаешь», или «акают»: «карова», «калхоз»...

К этому я до сих пор не могу привыкнуть. Так и хочется передразнить. Я как-то передразнил одного, а он посмотрел на меня печально и сказал, что мои родители, наверно, очень плохие люди. Вот тебе и на!..



Вообще это больной вопрос. Для своих родителей я крест тяжкий, сам знаю. Вот уже шесть лет, с той поры, как начал учиться, одни огорчения и неприятности им из-за меня. Вплоть до того, что дважды исключали из школы... А сколько разбитых носов, порванных рубах, жалоб, предупреждений? Никогда не думал, что буду таким! Все родные и близкие знакомые удивляются – в кого? Откуда мне знать, в кого? Я однажды попытался выяснить – пошёл в лесной табор к цыганам, сел у костра и сижу смотрю, как старухи пекут лепёшки, а они ничего: и не гонят, и своим не признают. Это было в Троице в ту весну, когда меня исключили из третьего класса как неисправимого. Я тогда уехал к сестре Лёле в город Грязовец, жил у неё с месяц, и там ребята сочинили про меня такую песенку:

Эх, бритая башка,
Не боится камешка!

Я их правда не боялся. Они на меня с камнями, а я на них с палкой – всегда убегали.
Но это всё в прошлом.
Теперь у меня есть такое дело (вернее, такая цель), что мне не до озорства.
Да и возраст не тот: четырнадцатый год уже, осенью пойду в седьмой класс!

Друзья-приятели

Вспомнил про школу, и потянуло меня на солнышко, на простор. Пока, дружок-дневничок!

Я прячу в укромное место толстую тетрадь, в которую записываю разные мысли и наблюдения, и выбираюсь из чердака дома на плоскую тесовую крышу сарая – на «палубу». Погода подходящая: умеренно жарко, по небу плывут перистые облака. Пахнет картофельной ботвой – к вечеру, видимо, натянёт дождь. Спускаюсь по бревенчатому углу на землю, прыгаю на турник. Подтягиваюсь: раз, два, три, четыре. Для разминки достаточно. Пройдёмся на руках... Порядок! А теперь к Ваньке и на Кубену, там, может быть, увижу Нину...

До чего же хорошо жить на свете! Я чувствую, как по моим жилам течёт горячая кровь, а самого себя не чувствую – я будто перистое облачко. Упершись о перекладину, перемахиваю через забор и шагаю дальше и дышу, а на сердце так легко, так всё замечательно!

Ванька-трудяга окучивает картошку. Тяп, тяп... – мотыга играет в его длинных загорелых руках. Он мой приятель и одноклассник и, кроме того, сосед.

- Труд на пользу, мужик. Пошли купаться, – говорю я Ваньке.
- Работать надо. – Ванька не подымает стриженной головы и всё тятает.
- Отдыхать-то тоже надо, чудак человек!
- Мать забранит.
- А много тебе ещё?
- Да с часок займёт.
- Ладно, приходи, как кончишь...
- В футбол будем играть, – бормочет Ванька.

В футбол он играет здорово, особенно бьёт с левухи. Он крайний правый, я левый. У меня тот недостаток, что я часто зарываюсь и попадаю в офсайд. Ванька со своей осмотрительностью никогда не попадает...

На Кубену иду посёлком по извилистой песчаной дороге. На буграх и возле домов сосны, узловатые, кряжистые. Ноги по щиколотки вязнут в тёплом песке.

– Эй, Мартышка, покажи номер! – кричу я знакомому пареньку, который сидит верхом на невысоком заборе.

Он строит рожу, скаля мелкие острые зубы.
– А ещё?

Он опять показывает. Растянул рот, сморщил нос и трясёт, как припадочный, головой.
– Прочти стишок, – прошу я.

Парнишка рад-радехонек. Его хлебом не корми – дай ему только продемонстрировать своё искусство.

Кикирики, петушок,
Золотой гребешок,
На полочке сидел,
Трои лапти сплёл,

Коточик потерял,
Денежку нашёл,
Молодичку купил.
Молодичка-то добра,
Рукавички связала,
Ба-ра-но-вы-е!

И как у него язык так ловко мелет! И плечами ещё подёргивает, и подскакивает на заборе – и впрямь петушок какой сказочный.

– Спишешь?

– Двадцать копеек, – требует он.

– Ладно, – говорю я, – за мной не пропадёт.

Иду дальше и на повороте встречаюсь с одноклассником Стёпкой. Этот тоже забавный, я его тоже люблю.

Во-первых, он немножко косолапый. Загребает ногами как медведь. Во-вторых, он на голову выше меня и в полтора раза толще да и по годам старше, но робкий. В-третьих, у Стёпки водятся рубли или конфеты – он сын продавца ОРСа. И самое примечательное: говорит – не «лучше», а «луште».

Сейчас я заставлю его сказать это.

– Стёпушка, друг, поворачивай, пошли на Кубену.

Он вместо ответа проводит рукой по ёршику волос и показывает капли воды на пальцах.

– Тёплая?

– Угу, – и шмыгает носом.

– Нины случайно на реке не видел?

Он молча мотает головой: нет, мол. Чувствует, что готовлю ему подвох! Но я его перехитрю.

– Нет, значит? А Тamarочки моей любезной?

Он подозрительно вперяется в меня маленькими глазами: к Тамаре он сильно равнодушен. Теперь он уже не думает о подвохе, только шумно сопит и пытливо смотрит на меня.

– Слушай, Стёпа, скажи откровенно, по-товарищески, с кем мне лучше дружить?

– Луште с Нинкой, – выпаливает он.

Что и требовалось доказать!

– Эх ты, «луште», Стёпа-недотёпа! – смеюсь я и продолжаю свой путь.

Ещё не доходя до нашей, мужской, купальни, вижу на берегу Нинино брата Серёжу. Он уткнулся лицом в свёрток одежды, спит блаженно. На августовском солнце не обгоришь, спи хоть целый день. Его широкая бурая спина с острыми плитами лопаток плавно вздымается и опускается.

Я неслышно подкрадываюсь к Серёжке и резко шлёпаю его пониже спины. Пока он поворачивается, очумело крутя головой, я прячусь за корявую иву у самой кромки обрыва посреди высокой травы и кустов.

– А, это ты, дьявол рогатый! – рычит Серёжка. – Давай выходи!..

Другому бы эта шутка не прошла даром – Серёжка умеет расправляться, – но мне он ничего не сделает: я ему не подчиняюсь.

– Башка трещит, – больше для фасона жалуется Серёжка. – Пивка бы сейчас не худо...

– А что? Можно! – говорю я, чтобы подзадорить его. Он оживляется.

– Есть гроши? – И чёрные глаза его яснеют и добреют. Он смуглый, черноволосый, белки глаз с лёгкой желтизной. Вот уж кто настоящий цыган!

– Одолжишь? – спрашивает он.

– А?

- Серьёзно, дай тройчок займы.
- Когда мне говорят «дай», я не слышу.
- На, – говорит Серёжка и протягивает мне свою пятерню.
- Ладно, зайдёшь ко мне домой – одолжу.

Я недавно продал фотоаппарат собственного изготовления, и у меня теперь целых двенадцать рублей своих денег.

Я подаю Серёжке руку – он поднимается, – и мы прыгаем с крутого берега в воду.

Ребята говорят, что я плаваю, как чёрт. Не знаю, как плавают черти – ни разу не видел, – но про себя могу сказать, что с водой дружу: на реке вырос.

- На остров? – фыркая, спрашивает Серёжка.
- Поплыли.

Мы выходим на стремнину, и течение живо подносит нас к песчаному, сплошь заросшему ивняком островку, за которым расположена женская купальня.

– Есть там кто-нибудь? – шепчу я. – Не видно?

Серёжка уже притаился в кустах и замер. Я тоже лезу в кусты.

Один конец островка почти вплотную подходит к берегу. Там в мелком проливчике с тёплой водой – тростник, на берегу полоса кустарника.

Две девочки-малолетки, стоя по пояс в воде, брызгаются и визжат.

- Мелюзга! – пренебрежительно шепчет Серёжка. – Таких и пугать неохота.
- Нина там?
- А вон на берегу. Спускается к воде...

Я круто поворачиваю вспять. Я плыву обратно против течения, а Серёжка, помедлив, пересекает проливчик вброд и выбирается на наше место – к старой плакучей иве. Мы ещё минут пятнадцать ныряем, кувыркаемся, достаём из омута земли – комки холодного липкого ила. Затем, накинув на спину футболки отдыхаем на берегу – Серёжка лежит на спине, а я гляжу в ту сторону, откуда после купания должна показаться Нина.

Я уже волнуюсь сам не знаю чего. Я всегда дураком делаюсь, когда её вижу и особенно когда разговариваю с ней. Просто мука одна: я иногда даже заранее придумываю, что ей сказать, но как начну говорить – или всё забуду, или перепутаю. И ничего не могу с собой поделат!

Нина

– Ладно, пока! – бросаю Серёжке и встаю. Я уже в полной готовности: брючонки, футболка – всё на мне.

Она в белом платице, босоногая, крепкая, идёт по берегу вдоль реки Явенги. Черноволосая, как брат, такая же смуглая, нет, не такая – посветлее, понежнее, гордая такая, пряменькая, идёт... Я зажмуриваюсь, а ноги сами уже несут меня вслед за ней.

А что я ей скажу? Я скажу: «Здравствуй, Нина». А потом что? Что потом? Что скажу после этого «Здравствуй, Нина»? Потом я ей ничего не скажу. Я скажу: «Здравствуй, Нина», – и больше ничего, наверно, трус презренный, опять не скажу.

Она оборачивается. Я вижу её лицо. Я смотрю и впитываю его в себя, пью, и не только глазами – всеми порами своей души, каждой клеточкой впитываю в себя и поглощаю её лицо.

– Ты что, на пожар? – как будто удивляется она.

В её карих глазах усмешка. Но не только усмешка: капелька смущения, капелька радости, капелька ожидания.

Ожидания – чего?

- На пожар, на огонь, ещё хуже, – бормочу я, болван несчастный: при чём тут «ещё хуже»?
- Так что же ты стоишь, коль на пожар? Беги! – Глаза Нины смеются, и губы смеются, и зубы беленькие смеются. – Ну?

– Не могу...

– А что?

– Да так. Я бы тебя одной рукой поднял...

– О-о! – Глаза Нины раскрываются шире, и в них притворная опаска и, кажется, опять немножко радости.

– Не веришь?

– Надорвёшься!

И хохочет, и смотрит на меня с любопытством.

Пусть хохочет. Пусть смотрит. Я чувствую, что у меня от волнения пересыхает во рту – сейчас я ей докажу. Но...

Всё как во сне. Откуда-то появляется Клара, дочь нашего преподавателя биологии, что-то рассказывает, посмеивается, блестя чистыми синими глазами.

И всё. Сказке конец.

– Приходите, девочки, в клуб, – справившись с собой, вежливо говорю я. – Вечером будут танцы.

– Спасибо, спасибо, – отвечает Клара и, обняв Нину за плечо, уводит от меня.

Оставшись один, я валюсь в густую траву. Теперь я буду переживать.

Я закрываю глаза и снова вижу её лицо. «Ты что, на пожар?» – спрашивает она. «Да», – с улыбкой говорю я, но не шлепоносый вихрастый мальчишка, как сейчас, а стройный юноша, в белых брюках, такой, какие шагали на первомайском параде в картине «Цирк». «Так что же ты стоишь?..» – «Мне надо поговорить с тобой, Нина». И я, этот стройный юноша, подхватываю её под руку и веду в клуб или, лучше, не в клуб, а в садик к фонтану, как в том кино, где Вера и Николай сидели на скамейке, и он ещё объяснялся с ней... «О чём же ты хочешь поговорить со мной, Юра? Опять, конечно, о будущем?» – «Ты угадала. Дело в том, что я окончательно решил поступать в военно-морское лётное училище. Мне предстоит суровая жизнь: бури, штормы, возможно, бои... Согласна ли ты меня ждать, Нина?» – «Согласна», – просто отвечает она и смотрит на меня хорошими глазами, в которых капелька смущения, капелька радости, капелька ожидания.

Ожидания – чего?

Я рывком поворачиваюсь на спину. В высоком небе плывут облака, лёгкие, лёгкие, как пушинки, скользят по синеве, подсвеченные солнцем. Скоро я буду пронзать их своим быстрокрылым морским бомбардировщиком, суровый пилот, как Леваневский или Громов, а Нина будет следить с земли за моим полётом и ждать моего благополучного возвращения... Скоро ли?

Почему, когда думаешь о будущем, то каждый год представляется вечностью, а когда что-нибудь вспоминаешь, кажется, что было вчера? Нина с Серёжкой пришли к нам в пятый класс два года назад, а кажется – будто вчера. Я полюбил Нину не сразу, только когда стали учиться в шестом, тоже около года уже минуло, а кажется – вчера. Я вообще ужасно влюбчивый.

Я ещё в первом классе влюбился в Розу, в дочку того доктора, с неправильной головой. Она и напоминала розу, цветок: розовенькая, полная, с сонными бледно-голубыми глазами. Чтобы ей понравиться, я несколько раз пробовал на уроках петь, и за это Александр Афанасьевич однажды выставил меня за дверь.

Ещё сильнее я влюбился в третьем классе в Лену. Я сперва в её лицо влюбился, потом – в её голос. Мне всё время хотелось на неё смотреть; я и на уроках смотрел и на переменах, а на переменах вдобавок слушал, как она говорит. Меня из-за этой любви и исключили, вернее, из-за того, что я принёс в школу садовый нож и резиновую трубку с гирей, чтобы поколотить Лёньку Ромашова. А зачем он заигрывал с ней?..

Теперь, конечно, это смешно, а тогда было не до смеха, как и сейчас – с Ниной. Когда я выучусь на морского лётчика, я обязательно увезу её туда, где буду служить...

Звенят кузнечики. Они не звенят, а стрекочут, и даже не стрекочут, а тиликают. Вообще такого слова нет, чтобы точно сказать, что они делают. Они, говорят, ножками это делают. Поделают быстро, потом прыгнут, обождут немного и опять начинают. Это сверчки – стрекочут. У нас за печкой живёт один, но я никак не могу его поймать.

А в реке Явенге журчит вода. Она струится меж камней, поэтому и журчит. Можно бы поохотиться на налимов, но нет с собой вилки. Другие как-то их руками ловят, нащупают в норе, погладят и под жабры – цап! («Под зебры», – говорит Стёпка). Я руками не умею. Только вилкой. Выслежу у берега возле какой-нибудь коряги, прицелюсь в усатую голову – и хлоп! Другой раз прямо в песок загоню, прикальваю ко дну намертво. У меня глазомер хороший, и силёнкой вроде не обижен. Я силу акробатикой развиваю.

Вот, кстати, и поупражняемся. Закинув руки за голову, сгибаю ноги в коленях, отжимаюсь от земли и – раз! Получился мостик. Теперь побольше прогиб, руками подбираюсь почти к самым пяткам и – два! Ноги махом идут вверх, описывая дугу, я касаюсь ими земли. И встаю с лёгким подскоком.

Это Ире спасибо. Она привила мне любовь к физкультуре.

Я сейчас учусь делать сальто. Всё это лето отрабатываю элементы. С короткого разбега, с кочки – прыг, голова вниз, ноги вокруг, и приземляюсь. Правда, вначале я больше на голову приземлялся – едва шею себе не сломал; затем – на спину, а в последнее время всё чаще опускаюсь на ноги.

Сила и ловкость мне нужны. Без них я никогда не достигну своей цели и не стану морским лётчиком. Да и теперь нужны. Иначе слишком многим придётся подчиняться. А пока мне подчиняются: я один из главарей среди ребят – своих сверстников в Явенге.

Поход в столовую

Ваньки не видно, наверно, ещё не кончил окучивать или пошёл не на Кубену, а на Явенгу, к железнодорожному мосту. Он там предпочитает купаться. Уж эти мне железнодорожники!

И Серёжки не видно, должно быть, проголодался и умотал домой... Пойду-ка я к папе, узнаю, который час, и заодно, может, клубнички поем.

Я иду к одноэтажному под железной крышей зданию сельсовета, оттуда сворачиваю на пришкольный участок. Папа в кепке, в выгоревшей полосатой рубашке с закатанными рукавами склонился над томатным кустом, подвязывает стебель к деревянному кольшку.

Этих кольшков уйма, сотни две, и к каждому аккуратно прикреплен верёвочкой куст, а на кустах среди узорчатой зелени – тяжёлые оранжево-красные помидоры, такие гладкие, налитые, что кажется, дотронься, и лопнут. Есть и не оранжевые, а жёлтые – это особый сорт, они похожи на лимоны, только кожица без пупырышков. Есть и просто зелёные, ещё дозревают.

И всё на участке так распланировано, так чисто! У каждой гряды – дощечка, на которой рукой папы написано, что он тут посеял, когда и род удобрений.

Папа заметил меня, разогнул спину и улыбается. Какой же он стал старенький, папа! Борода совсем белая, и столько морщин на обожжённом солнцем лице... Я бегу к нему по борозде, а он мне грозит, чтобы я нечаянно не наступил на растения.

– Ну, воздушный извозчик, что тебя здесь интересует?

– Клубника, – говорю я.

– Только и всего? – Папа, я чувствую, разочарован. – А ты поливал клубнику?

Я ничего не поливал, и папе это известно. Ему помогает на участке мать Тамары – Антонина Николаевна. Она вместе с папой и поливает, и окучивает, и сорняки выдёргивает. Но ведь она за это зарплату получает!

Вот такой он всегда, наш отец. Ничего для себя и своей семьи, хоть и работает от зари до зари целое лето и отпуском не пользуется. А когда придёт осень и снимут урожай, будет наравне со всеми платить за картофель и овощи, которые распределяют между учителями.

Папа наблюдает за мной, потом, смягчившись, протягивает мне руку, но я отворачиваюсь. Мне уже не хочется клубники. У меня есть сила воли.

– Который час? – спрашиваю я. – А то мне, наверно, пора за обедом.

Папа достаёт из кармана старинные, с открывающейся крышечкой часы и говорит, что ещё не пора; в моём распоряжении сорок с лишним минут.

– Так я пойду лучше не торопясь.

И я иду обратно.

– Юра, вернись, – говорит папа.

Нет уж, ни за что не вернусь! Не надо было сразу оговаривать. Я, наоборот, припускаю бегом...

Вот в этом всё дело. Вот почему я коплю силу и закаляюсь в драках. Мы бедные, а бедные потому, что у папы такой характер. Он всегда только из одного своего жалованья и нас кормил, и Ире, когда она училась в институте, посылал. Ира, девушка-невеста, носила парусиновые туфли, а папа с мамой страдали, но не могли купить хороших.

И в столовую за обедом поэтому я хожу. Мама считает, что брать из столовой дешевле. А люди удивляются и говорят, что за папины труды нас надо бы на круглый год обеспечить бесплатной картошкой и молоком от школьных коров. Да и директор Михаил Иванович не раз это предлагал, но папа отказался...

Когда полчаса спустя, вооружённый кастрюлей и алюминиевой миской, я вышагиваю обычным своим путём по узко-колейной ветке в рабочую столовую базы, мне уже не хочется осуждать папу. Я стараюсь вообразить, как вырасту и куплю ему пишущую машинку и микроскоп взамен тех, которые пришлось продать в Троице во время его болезни. А маме куплю обручальное кольцо, такое же, какое она сдала в торгсин несколько лет тому назад. А Ире, хоть она теперь замужем, куплю модельные туфли. И Ксене.

А мне ничего не надо. Я только сошью себе костюм, как у Митьки Самородова: брюки «Оксфорд» и короткий, в клеточку, пиджак. В этом костюме я буду танцевать с Ниной танго...

Пока я иду по узкоколейке, окаймлённой молодыми сосенками и можжевельником, мне никто не мешает рисовать себе какие угодно картины.

Я могу даже, сойдя на обочину, сделать несколько танцевальных движений, могу даже напеть эту песенку из кинофильма «Петер»:

Танцуй танго, Мне так легко
Та-та-та, та-та, далеких
И знойных стран...

Но вот дорога, выбираясь из мелколесья, делает поворот, и я подхожу к железнодорожному переезду, возле которого желтеет будка стрелочника. С юга, со стороны Вожеги, постукивая, несётся товарный поезд. Сейчас мы проверим свою смелость.

Я останавливаюсь шагах в пяти от линии. Тяжёлый состав, прогрохотав через мост, приближается к переезду. Паровоз, блестя фарами, напряжённо отдуваясь и покачиваясь, растёт на глазах. Вот до него уже метров двести... сто – секундочку – пора!

Я прыгаю через линию и чувствую, как моё сердце мгновенно превращается в ледяной ком – мне даже кажется, что какая-то моя часть не успела перепрыгнуть и осталась там, по ту сторону, – чувствую удар ветра, слышу, как звякает миска о кастрюлю. А поезд мчится дальше, золотистыми пачками тянутся ряды брёвен на платформах, сухо, железно щёлкают колёса.

Всё в порядке. Успел! Я глубоко вздыхаю и с полминуты ещё приглядываюсь к тому, как мелькают ступени подножек. На таком ходу, пожалуй, на подножку не вскочишь, даже если будешь бежать вдоль состава по ходу поезда изо всех сил.

Соскочить можно, это проще.

Я и со скорых поездов соскакивал. Правда, зимой, в снег. Прошлый год я часто ездил в Вожегу, за фотопластинками 6X9 и возвращался большей частью – так совпадало по времени – на скором, который в Явенге не останавливается. После Сямбы я через буферную площадку вылезал на подножку, вставал на нижнюю ступеньку и, не доезжая семафора, где подъём, прыгал... Надо только ноги посильнее выбрасывать вперёд и лететь сперва горизонтально, вроде бы на спину, а потом в воздухе тебя развернёт, и, как коснёшься земли, беги или лучше – вались в снег, тогда по крайней мере на столб не налетишь. Вот где акробатика мне помогала. Я это дело любил.

Последний вагон товарняка с площадкой главного кондуктора всё уменьшается и уменьшается. Я прощально помахиваю главному: счастливо! Теперь надо идти поживей и не оглядываться, а то ещё стрелочник по шее даст.

Танцуй танго, Мне так легко,

– мурлычу я себе под нос, посматривая на продуктовый ларёк, механическую мастерскую и столбы подвесной дороги с мотовозами, которые уходят в голубую даль. Здесь, на базе хорошо пахнет мазутом и соляжкой – мне эти машинные запахи нравятся. Мне здесь вообще всё нравится: клуб, новый двухэтажный дом ИТР, и как движок хлопает, и из чёрного репродуктора музыка льётся. Я так и вижу своё будущее!

В длинном зале рабочей столовой я сперва читаю приколотое к стенке меню, затем в уме подсчитываю, плачу, сколько надо, и подхожу к раздаточному окну.

– Опять постный суп и пшённая каша? – смеётся выдавальщица.

Она пунцовая, а зубы белые, и на голове белое – такой марлевый тюрбан. Она молоденькая, но плечи у неё пышные. Я всегда стараюсь на них не смотреть.

– Ладно, давай! – сурово говорю я. – Два вермишелевых супа и три гуляша.

– Разговеться надумали? – спрашивает она с улыбкой, забирает мои талоны, посуду и уходит вглубь, где горячо и пахнет жареным луком. Сейчас она мне вместо двух порций вкатит четыре (а мама всё поражается: какие большие эти три порции!) и картошки с соусом наложит будь здоров. Но я всё равно не скажу спасибо, это её дело, что она даёт, я же у неё не прошу...

– Кушайте на здоровье, подкрепляйтесь! – говорит она, протягивая мне тяжёлую кастрюлю и миску, и всё улыбается и поглядывает на меня. Чудная какая-то!

Я ставлю миску с гуляшом на кастрюлю, сверху – крышку и газету, привязываю к ручкам широкий папин ремень и – в обратный путь...

Сейчас бы неплохо выкупаться перед обедом, но не идти же на реку с такой ношей! Придётся применять силу воли.

О чём бы таком подумать, чтобы не тянуло на реку? Буду думать о Нине, а ещё лучше – о войне. Вот только перейду линию, сразу и начну думать о войне.

Я поскорей перебегаю линию, но стрелочник-таки укараулил меня.

– Ты, леший тебя побери, чего деешь? Чего под паровик суёшься? – он стал посреди дороги и выставил руку поперёк, как семафор.

Убежать от него трудно – кастрюля мешает, – а оправдываться я не люблю.

– Не «деешь», а «делаешь», дяденька, и не «паровик», а «паровоз», – в некоторой растерянности говорю я.

– А ну давай к дежурному по станции, давай сейчас же, грамотей мне тоже! – неожиданно вконец рассердился стрелочник и угрожающе двинулся на меня.

В эту минуту, на моё счастье, отчаянно затрезвонил телефон – два никелированных блюда на жёлтой дощатой стене будки.

– Шпана сопливая, наказание Божие! – прокричал ещё стрелочник и круто повернул к будке.

Неприятно. Терпеть не могу, когда со мной так разговаривают. Мне тогда, наоборот, назло всё хочется делать...

Однако нет худа без добра. Купаться мне расхотелось – не надо и силу воли применять. Теперь можно и о войне не думать.

Я сейчас что-нибудь другое представлю себе, что-нибудь такое приятное.

Например, как меня вызовет в Вожегу военком и скажет, что ему нужны разведчики. Он сперва скажет: «Это ты похитил знамя у „синих“, когда была военная игра в пионерлагере?» Я скажу: «Я». – «А это ты, – скажет он, – грозил запереть в погреб часового Лену Степашову, если она не укажет, где спрятано их знамя?» – «Было дело под Полтавой», – признаюсь я. «Молодец! – внезапно похвалит меня военком. – Так вот, орёл, подбери себе десяток надёжных ребят, мы выдадим вам обмундирование, револьверы, финские ножи и отправим куда следует». – «Не в Испанию, товарищ капитан?» – «Нет, – ответит военком, – в Испании мы не вмешиваемся. – А сам хитро прищурится, потрогает свой новенький орден и скажет, как говорят во всех кинофильмах: – Действуйте!»

И вот уже мы летим, гудят моторы, а мы сидим, суровые, левая ладонь на рукоятке ножа, правая – на рукоятке скорострельного бесшумного револьвера...

И вот мы уже идём в атаку: я несу боевое красное знамя. Они стреляют в нас из пулемёта, а мы гордо идём и презрительно улыбаемся. Бесстрашно!

Я иду по шпалам узкоколейки, несу свою кастрюлю и презрительно улыбаюсь. У меня, чувствую, слёзы навёртываются – до того бесстрашно и гордо мы идём! До слёз – вот до чего!

Я вытираю кулаком глаза и как раз вовремя. Из-за поворота показывается лошадь, везёт осинобые клёпки. Тонкие рельсы чуть гудят, узловатые ноги привычно ступают в выбитые меж шпалами ямки; глаза у лошади полуприкрыты, нижняя атласная, в редких толстых волосках губа бессильно отвисла и дрожит, и ноги дрожат – того гляди, свалится, бедняга.

А на свежих клёпках сидит здоровая загорелая девка в белой косынке. Напевает что-то про себя. Тоже что-нибудь воображает.

– Слезь с вагонетки-то, – посторонившись, советую я. – А то подохнет твоя кляча.

– А подохнет – туда ей и дорога! – задорно отвечает девка. – Старикам везде у нас дорога, а молодым почёт. – Она дёргает вожжи, понукая: – Но-о, балуй!

Вот бессовестная! Кабы не кастрюля, взял бы вицу да по голым по её ногам!..

Я ускоряю шаг и уже вижу за изгородью напротив клёпчного завода свой дом – «корабль», как я его зову. Он открыт всем ветрам. Окна на три стороны, и крыша сарая, как палуба. И капитанская рубка есть – мой чердак...

Папа, наверно, уже вернулся с участка. Снял очки, пропотевшую насквозь рубашку и неторопливо намыливает руки под умывальником. А мама расставляет тарелки и посматривает в окно – не идёт ли Юрка?

А Юрка идёт. И гуляш несёт. Мама велела взять на второе перловую кашу, а я сэкономил на супе, добавил из своих денег рубль и несу домой гуляш.

Урок литературы

*Звонок звенит, и Маня мчится
По направлению в седьмой класс,
За столик маленький садится
И начинает мучить нас.*

Трудно сказать, кто кого больше мучает: Маня нас или мы её, но уж так повелось, что этим стишком, чуть слышно произносимым сквозь зубы, мы всегда встречаем нашего преподавателя русского языка и литературы Марию Фёдоровну.

Я опять с Ванькой, и опять на третьей парте, и мне со своего места прекрасно видно каждое движение Марии Фёдоровны. Вот она с коротенькой улыбкой кивнула нам, разрешая сесть, уселась сама и принялась раскладывать свой багаж. Это замечательная особенность Мани: кроме классного журнала и толстой тетради с планом урока, она извлекает из портфеля какие-то книги, учебники, программы, брошюры. За полминуты она выстраивает перед собой целую баррикаду, затем отмечает в журнале, кто отсутствует, кладёт локти на стол и начинает говорить.

Теперь до самого звонка Маня ни разу не поднимется, ни разу не оторвёт глаз от книг и не снимет со стола широко расставленных полных локтей. Её круглое лицо со шрамиком возле небольшого рта спокойно и невозмутимо. Маня излагает нам материал.

Она рассказывает о детских и юношеских годах Максима Горького, а я гляжу на этот её шрамик и вспоминаю, как прошлой зимой меня отстранили от занятий.

Меня тогда из-за Мани отстранили. Я во время перемены ходил на руках и не слышал звонка. Она открыла дверь, а я ей навстречу – ногами кверху. Она закричала, чтобы я немедленно отправлялся в учительскую, и побежала обратно по коридору, а я за ней – опять же на руках. И, на свою беду, налетел на директора Михаила Ивановича. Тот меня живо поставил на ноги, припомнил мне другие прегрешения и объявил, что исключает меня из школы на месяц. А Маня стояла рядом и хоть бы слово сказала в мою защиту. Даром что я у неё только на «оч. хор.» учился... Я вот до сих пор как следует не пойму, что же её так возмутило? Может быть, то, что я и в учительскую посмел идти на руках?

Я отворачиваюсь от Марии Фёдоровны и вижу классический профиль Нины. И у меня сразу веселеет на сердце. Ведь создаёт же природа такое совершенство: такой матово-чистый лоб, такой правильный нос, такой нежный подбородок! И такое ушко, смугловато-розовое. И такие тёмно-каштановые, с лёгким блеском волосы... Нина не шелохнётся, слушает внимательно.

А я не могу слушать. Во-первых, я читал «Детство» и «В людях» – там Горький сам гораздо интересней рассказывает о себе, – а во-вторых, мне мешает, что Маня обложилась книгами. Что она против нас баррикаду свою построила? И почему она не поднимает глаз? Бойся увидеть, что мы не тем занимаемся?

Ванька, например, жуёт. А что делает Серёжка? Серёжка сегодня забился на заднюю парту и читает «Всадника без головы», а может, стрелялку мастерит. Вот когда в пятом классе русский язык преподавала Птичкина, тогда Серёжка не мастерил стрелялок. Он не сводил с неё глаз. Она была молодая, но очень строгая – Птичкина! Потом её, к сожалению, куда-то перевели от нас...

А Стёпка? Этот, конечно, колупает под носом и дремлет – мучается. «Луште!»

Сашка Вавилов, как и Нина, усердно слушает. Он у нас, между прочим, великий математик: любую задачу за минуту решит. У него чуть оттопыренные уши, ему сам Бог велел слушать.

И Любочка Осенина слушает: небесные глаза, льняные локоны, не девочка – куколка! Оглянулась-таки!

Я подмигиваю ей, она, покраснев, прикрывается тетрадкой, чтобы Маня не заметила. Напрасные опасения! Маня не желает ничего замечать – бубнит лишь по своему учебнику. Люба Осенина, Сашка, Нина и я – мы считаемся лучшими учениками в классе. Вчера нас вместе сфотографировали. По успеваемости я правда лучший, у меня только дисциплинка хромает. Ну, да теперь, в седьмом классе, постепенно и дисциплинку наладим.

Чем бы ещё заняться?

– Ванька, дай пирожка!

– Самому мало, – отвечает с набитым ртом Ванька, но всё же отламывает уголок.

Теперь мы как-нибудь дотянем до конца урока. С куском грибного пирога не пропадём. Выдержим!

– Помнишь это, – шепчу я Ваньке, – помнишь: «И шило бреет!»?

Мы прошлой осенью так и покатались со смеху, вычитав в хрестоматии эту фразу Салтыкова-Щедрина: «И шило бреет!»

– Шило-то бреет, – говорит Ванька, – а пирог убывает.

– Пирог убывает, – соглашаюсь я, – зато время идёт.

– Время идёт, – обрадованно подхватывает Ванька. – А дале чего?

А дальше – Мария Фёдоровна вскидывает на нас свои измученные глаза, и мы умолкаем. Потом она задаёт на дом – прочитать от такой-то до такой-то страницы, – и как раз в коридоре заливисто ударяет звонок.

Футбол

Большая перемена! Большая перемена!.. Я пробкой вылетаю из класса, водружаюсь верхом на лестничные перила и – жиг! – съезжаю до поворота, разворачиваюсь и – жиг! – спускаюсь до конца. Я спешу к выходу, а мимо меня – жиг! жиг! – один за другим скатываются ребята. Хоть перемена и большая, надо дорожить каждой минутой.

На улице солнце, бодрящая свежесть, простор. Я бегу на футбольное поле, а Митька Самородов уже там. И баян его стоит на скамейке. И мяч прислонён к штанге ворот – дожидается нас. Господи, до чего же хорошо мы живём!

– Привет, Дмитрий Иванович! – кричу я издали.

– Приветик! – отвечает он и делает страшную гримасу.

Он тоже комик. Он теперь у нас преподаватель физкультуры, а ещё каких-нибудь полтора, два месяца тому назад... Но об этом молчок. Скажу только одно: я ему подчиняюсь. Митька учился в железнодорожном техникуме, он отличный спортсмен, прекрасно танцует современные танцы, играет на баяне и вообще.

Подцепив носком ботинка мяч, веду его к черте штрафной площадки. Серёжка встаёт в ворота. Ванька, Стёпка и ещё несколько наших станционных ребят выстраиваются в цепочку. Мы будем бить по очереди – отрабатывать удар. Оглядываюсь на Митьку.

Он подносит ко рту жестяной судейский свисток. Серёжка в воротах напряжился, чуть согнулся. Верещит свисток. Я разбегаюсь – бац!

Серёжка, прыгнув, берёт. В левом верхнем углу. Силён, бродяга! Я отхожу в сторону, а Серёжка накатывает мяч на Ваньку, и тот – бац! – неожиданно бьёт с ходу. Мяч проскакивает в ворота и летит на дорогу, по которой, обнявшись, идут девочки. Одна из них ножкой – тюк! – и промахнулась, другая – цап! – поймала и откинула нам.

Ванькины большие уши зарделись от гордости: как же, на глазах у публики забил гол! Серёжка протестует: не было свистка судьи – значит, нельзя было бить; этот гол не считается.

– А зачем накатывал? – спорит Ванька.

– «Зачем! Зачем!»! – Серёжка быстро морщит нос (он всегда морщит нос, когда передразнивает). – А зачем тебе голова дана? Для шапки?

У Ваньки загораются скулы: Серёжка его задевает. Дело может дойти до драки. А Митьке уже не пробиться к нам, его плотно окружили девочки и просят сыграть падеспань.

– Минутку, девочки!..

Но девочки не хотят ждать ни минуты, и Митька, кинув мне судейский свисток – разберись, мол, там за меня, – отстёгивает ремешки на баяне.

Ванька и Серёжка сближаются короткими шажками. Лицо Серёжки зло бледнеет, а Ванькино всё гуще краснеет. Я, грешный, люблю понаблюдать за этим. Зрачки у них сужаются, губы пересыхают. Серёжка покрупнее и постарше, но Ванька с длинными жилистыми руками не слабей его – тоже может зацепить.

– А ты что уставился? – прикрикиваю я на Стёпку. – Иди пока в ворота!

– Луште обожду, – бормочет Стёпка.

Ванька и Серёжка сблизились. Сейчас будет небольшой энергичный разговор.

– Чего те надо? – говорит Ванька. – Ну, чего?

– А те чего, суслик? – презрительно говорит Серёжка, и его чёрные глаза мрачно мерцают.

Я от волнения быстро глотаю слюну. Что ответит Ванька? Кто первый поднимет руку на другого?

– Я? Суслик?! – Ванька, оскорблённый, уже весь дрожит. Наступают последние секунды.

Серёжка резко сгибает руку в локте, и в этот момент я бросаюсь к товарищам, встаю между ними и даю свисток.

– Ребята, – угрюмо объявляю я затем, – вы оба неправы.

– А чего ему надо? – первым откликается Ванька.

Ваньке не следовало бы откликаться первым: его же задели.

– Повторяю, оба неправы. Восстановим справедливость. Ясно?.. По поручению судьи, назначаю спорный.

– «Справедливость, справедливость»!.. – Серёжка сплёвывает через зубы и, повернувшись, бредёт за дорогу на лужайку, где начинаются танцы под баян.

Тем лучше. Сам себя наказывает человек.

– Стёпка, в ворота! – говорю я.

Стёпка бежит к воротам, Ванька ставит мяч у черты штрафной площадки, и мы возобновляем футбол.

Дома

Возле нашего дома нет ни деревца. Голо. Вот ещё почему я долго не мог привыкнуть к Явенге.

В Троице, когда папа начал вставать после болезни, нам дали отдельный домик за рекой в Отрадном. Это был чудо-домик! Огромные берёзы касались ветвями крыши, гладили её при лёгком ветре, а солнце, пробиваясь сквозь листву, рассыпало вокруг дрожащие золотые денежки. Зимой берёзы высились как серебряные исполины, защищая дом от вьюг и снежных заносов, весной, оттаяв, первые принимали вернувшихся с юга грачей и скворцов.

Я часто перелезал с крыши на одну из берёз и, вскарабкавшись на верхушку, просиживал там часами. Сразу за домиком начиналось ржаное поле, на краю его стояла ветряная мельница с серыми рассохшимися крыльями; слева темнел Вотчинский бор, справа, за светлым ручьём, перегороженным вёршами, – Куровский; а впереди – Кубена, а по взгорью и по обе стороны дороги на том берегу – белая церковная ограда и ряды рябин...

Плохо, когда возле дома нет деревьев. Сосны в нашем посёлке не в счёт. Сосны и ели – это для леса, они колючие, а для человеческого жилья нужна гладкая нежная листва берёзы или черёмухи.

И всё-таки я полюбил этот наш дом в Явенге. Он как островок в открытом море. Его сечёт дождь, в летний зной сушит солнце, буйные весенние ветры силятся сорвать с него крышу, но он не поддаётся, наш дом. Он, как корабль, который незримо несёт меня навстречу будущему.

...Мама в тёмном жакетике своём стоит на крыльце с ведёрком в руке. То ли подоила коз, то ли за водой собралась – пока не разберу. Она тоже заметно постарела, как и папа. Совсем

уже не та, синеглазая, с высокой причёской, что когда-то, приветливо улыбаясь, подавала чай гостям.

Я отдаю маме портфель, забираю ведро и топаю к колодцу. Когда возвращаюсь, мама сидит на кухне и тихонько кончиками пальцев постукивает по столу. Значит, чем-то озабочена или опечалена. Папы нет.

– Будем ждать папу или пообедаешь один? – спрашивает она.

– А он скоро?

Я, как всегда после школы, голодный.

– Он уже был, пожевал хлеба и опять пошёл. Через час, сказал, вернётся... Столько ему опять хлопот с выставкой!

Папа по-прежнему каждую осень устраивает в школе выставки нового урожая. Между прочим, недавно его опытами заинтересовался институт растениеводства в Ленинграде, а газета «Правда Севера» обещает напечатать папины статьи о гречихе и топинамбуре.

– А ты знаешь, Юра, что это последняя папина выставка? Уходит на пенсию наш голубчик...

Я об этом слышал. Папа собирался ещё той осенью, но не было замены, а теперь прислали, кажется, молодого агронома. Папа и так проработал лишних четыре года.

– А почему ты расстроена?

– Боюсь за него, Юрушка, – шепчет мама, и её глаза быстро влажнеют.

Она встаёт, открывает в печи заслонку и долго не может найти в углу нужного ухвата. Мне хочется обнять её, поцеловать в тёплый височек, но я в последние годы как-то поотвык от этого.

– Ты зря тревожишься. Папе будет легче.

– Не знаю, – тихо отвечает мама. – Не знаю. Он сорок лет изо дня в день уходил по утрам на работу, сорок лет... Как он теперь перенесёт такую перемену в жизни?..

Пообедав, я сразу сажусь за уроки и уже кончаю письменные задания, когда приходит папа. Он оживлён, даже весел, и говорит, что выставка почти готова. Понадобится ещё день, ну, два. Обещают приехать представители из района и из других школ перенимать опыт.

– Пе-ре-ни-мать! – вдруг с усмешкой повторяет он по складам. – Не учиться, не наживать опыт, а просто перенимать. Гм?!

Пока он умывается, мама приносит хлеб и ставит тарелку с супом на большой стол, за которым я готовлю уроки. Я занимаюсь на одном конце стола, а папа садится за другой. Я по старой привычке протягиваю ему газету.

– Ну, что хорошенького в мире, чиж? – Папа, когда обедает, снимает очки, и поэтому близоруко шуруется.

– В Испании бои. У нас построили новую домну на Урале...

– А в классе у тебя что?

– Замечаний нет. По истории – оч. хор.

– Оч. хор!.. Пороть вас некому!

И, покачав головой, папа принимается за суп. Газету он кладёт рядом с тарелкой.

Он ест необычно – я люблю украдкой понаблюдать, как он ест. Он зачерпывает суп движением не на себя, а от себя, и левой рукой отламывает от хлеба кусочки. Я так не умею. Я держу весь кусок в руке, и потом, мама говорит, я чавкаю и дую на ложку, а это не полагается. Папа ест хотя и быстро, но бесшумно, и при этом может разговаривать.

Мама уносит пустую тарелку, а он берётся за газету.

– Это тоже не полагается, – говорю я. – Нельзя читать во время еды.

– Правильно, – говорит папа, а сам читает, вернее, скользит сощуренным взглядом по газетному листу. Это он выбирает, на чём остановиться.

– Рассеивается ведь внимание.

– Да, конечно... Вот мерзавцы! – Папа подносит газету к самому носу, и глаза его начинают бегать по строчкам. – Аня, ты читала?

Мама подаёт ему второе. Она выглядит уже спокойной. Она удивительно умеет скрывать от папы свои заботы.

– Вот послушай, – говорит папа и читает вслух про то, что, поскольку правительство его величества занимает позицию строгого невмешательства, оно не может позволить своим гражданам посылать медикаменты и перевязочные материалы для нужд одной из воюющих сторон, в данном случае – для республиканцев.

Мама говорит, что это лицемерие, что это бесчеловечно а папа добавляет, что подло, что правительству его величества, конечно, ближе генерал Франко и в этом вся суть... Он, папа, мечтает, чтобы в Испании победили демократы-республиканцы, то есть народ.

Он всегда был за народ. Мама рассказывала, что во время революции они с папой участвовали в манифестациях (мама говорит по старинке – «манифестациях», а не «демонстрациях»), что папа и до революции ругал царя. Ещё она интересно рассказывала, что папа пытался создать кооператив из бедных крестьян, такое товарищество по совместной обработке земли и приобретению сельскохозяйственного инвентаря – это было ещё до первой мировой войны, – а один купец предлагал ему десять тысяч рублей отступного, но папа прогнал его. Правда, губернские власти потом всё равно запретили этот кооператив, и у папы были неприятности, но то ценно, что он и в те времена старался быть полезным народу.

Папа доедает макароны, затем пьёт крепкий чай. На это тоже забавно смотреть, потому что он выпучивает глаза, когда тянет из стакана. И продолжает читать газету.

...Начинает смеркаться. Часы на стене показывают пять. Я люблю наступление сумерек: всё кругом как-то смягчается, притихает, делается чуть таинственным.

Я лежу на печке, подперев голову кулаком. Мама вымыла посуду, подмела на кухне и прикорнула на кушетке. Папа прохаживается по комнате, думает. Слышно, как под его ногами поскрипывают половицы.

А мне на печке хорошо. Отсюда всё видно. Повернёшься в одну сторону – кухня с окном, через которое можно поглядеть на проходящих мимо нашего дома в посёлок людей. Повернёшься в другую – прихожая, пожалуйста, наблюдай через это окно, как Шубины дрова пилят. В третью сторону повернёшься – перед глазами железная труба с кудрявым сизым дымком, штабели клёпок и жёлтая гора опилок. Окна у нас высокие, а печь не особенно, вот с неё и видно всё.

Маме не совсем нравится этот наш дом. Мы только по привычке так говорим: кухня, прихожая, столовая. На самом деле это одна большая комната, посреди которой стоит здоровенная печь. Папа сам сделал перегородки, но от этого мало что изменилось. Разговаривают на кухне, а слышно везде, не то что было в Троице. Тут у папы даже кабинета нет, просто поставил свой стол в дальнем от двери углу, там и работает вечерами.

Когда к нам первый раз приехал из Ленинграда муж Иры Георгий Георгиевич (он преподаватель литературы), папа в шутку назвал наш дом жилищем древних германцев. Помню, Георгий Георгиевич полдня провёл на стремянке, любовался нашей библиотекой. Влезет на эту лесенку и достаёт с полки книгу за книгой, полистает, замрёт, потом спустится и перетаскивает стремянку дальше. Так вдоль стен и обошёл весь дом...

Папа всё прохаживается и думает. Поскрипывают половицы. А мама притихла – может, уснула? Наверно, папа думает об Испании, о её смелом и гордом народе, о выжженных войной полях, об оливковых рощах, прибитых и поломанных артиллерийским огнём. А я, как всегда, думаю о Нине и о том, чем бы мне заняться вечером: почитать «Войну и мир», или «Рождённые бурей», или пойти в кино...

– Аня, ты спишь? – вполголоса спрашивает папа.

– Нет, – отвечает мама. Значит, даже не задремала.

– Что Ксения? Будет она в эту субботу?

Мама говорит, что должна. Потом они обсуждают, как бы подновить Ксении зимнее пальто. Потом говорят про Иру, вспоминают про других сестёр. У папы с мамой за всех болит сердце. Потом они говорят, что Юре обязательно нужны новые валенки.

Валенки мне правда нужны. Прошлой зимой мои старые чинили, чинили, и всё равно – дырки. Я их затыкал тряпочкой, чтобы снег не попадал внутрь.

– Пока будет мои носить, – говорит мама, – а я похожу в его, мне для дома сойдёт.

Она, я знаю, уже побаивается, что нам не хватит папиной пенсии, если ещё покупать что-нибудь новое. Потом мама ловко меняет разговор, чтобы папа не волновался из-за валенок; она хочет сделать ему приятное и спрашивает про выставку.

А папа опять вспоминает, что придут представители перенимать опыт. Ему, я чувствую, то не нравится в этом слове, что оно какое-то чересчур лёгкое внутри.

Папа любит другие слова: труд, ученье, время. Он любит показывать на земле, на своём участке, как надо выращивать, там у него действительно можно многое перенимать, то есть учиться, а без этого, просто на готовенькое поглядеть – мало толку. Я его так понимаю.

Папа умолкает, и я вижу, что им обоим, папе и маме, стало грустно. И мне делается жалко их: они ведь очень добрые и хотят, как лучше, но они не *совсем современные*. Мне что-то до того делается их жалко, что я немедленно спускаюсь с печки и подхожу к маме.

– Барсика показать?

– Ну покажи! – Мама даже обрадовалась... Вот так ведь всю жизнь её выручаю!

Я вначале мекаю по-козлиному, вскидываю ножку, потом, оттопырив подбородок, наступаю на папу. Папа, изображающий в этой игре козу, уклоняется от ухаживания, увиливает, и тогда я, козёл, останавливаюсь, обиженный и ничего не понимающий. Я кручу головой, снова мекаю, втягиваю ноздрями воздух и ещё энергичнее вскидываю ножку. Затем вдруг, подняв колено, делаю как будто то, что, иногда делает козёл, мучимый жаждой, и тут папа не выдерживает – хохочет.

И мама хохочет, как девушка, подбирает с опаской ноги на кушетку, а потом живо встаёт и отправляется зажигать лампу.

А я уже кукарекаю. Я ещё покажу им, как петух, выставив крыло, гоняется за курицей. Папа с мамой этого моего номера ещё не видели.

Муки творчества

За окном нудный осенний дождь. Сеется, сеется, и конца ему нет. Небо сплошь залеплено тучами, земля от воды почернела, и деревья, и крыши домов. В такую погоду только лежать на печке. В такую погоду, как говорится, хороший хозяин собаку из дому не выгонит. Ненавижу осень!

Я отхожу от окна и вновь с тяжёлым чувством обзираю чистый лист полуватмана, разложенный на учительском столе. Меня выбрали редактором школьной стенгазеты, и мне надо выпустить первый номер к завтрашнему дню: я дал слово директору Михаилу Ивановичу. А как выпустишь, если нет заметок, – одна только передовая?

Я пячусь к своей парте (в классе ни души, никто меня не видит) и, ухватившись одной рукой за спинку сиденья, другой – за край скамейки, делаю «стойчку». Когда делаешь «стойчку», в голову нередко приходят удачные мысли. Это потому, что приливает кровь к мозгу и освежает его. Но сейчас – пусто, никаких мыслей!

Я опускаю ноги и уныло выпрямляюсь за партой. Как на уроке. Как прилежный, старательный, дисциплинированный ученик. Терпеть не могу чересчур прилежных и старательных! Это таких надо заставлять выпускать стенгазету к завтрашнему дню. Их даже застав-

лять не надо, им надо поручить, и они быстренько и с удовольствием всё исполнят. Вот примерно так.

Колонка первая – передовая. Тут всё ясно: поднимать успеваемость, посещаемость, сознательную дисциплину; бороться с прогулами, с плохим поведением на уроках и на переменах. Передовая – это, в общем, не наше дело. Её пишет директор или завуч.

Наше начинается со второй колонки. Она всегда посвящается лучшим ученикам – с кого брать пример. «У нас в седьмом „А“ есть Александр Вавилов. Он внимательно слушает объяснения преподавателей, аккуратно выполняет домашние задания. Александр Вавилов подтянут, не опаздывает на уроки и не пропускает без уважительных причин. Он активно участвует в учкоме, проявляет сознательную дисциплину как на занятиях, так и дома...» Сашка, конечно, не такой прилизанный, но напишут о нём именно так.

Колонка третья. Что в третьей? Да, о пионерской работе. Как прошёл первый сбор. «Недавно в нашей школе состоялся первый в этом учебном году пионерский сбор. Он был очень интересным и содержательным. Ребята с большим интересом слушали выступление участника гражданской войны преподавателя истории Петра Фирсовича Кукушкина, который поделился своими воспоминаниями о тех незабываемых днях. Особенно внимательно слушали пионеры Н. Коновалова и Л. Осенина. Неудивительно, что они являются лучшими учениками в классе, а теперь с удвоенной энергией приложат силы, чтобы и в дальнейшем учиться на «хорошо» и «очень хорошо».

Колонка четвёртая. Критика и юмор. Сперва статечка об отрицательных учениках. «Подавляющее большинство учащихся Явенгской НСШ проявляют сознательное отношение к своим обязанностям. Они хорошо ведут себя на уроках и переменах, не употребляют нецензурных выражений, не курят в уборной. Но есть, к сожалению, у нас и такие ученики, как например, Коновалов Сергей. Коновалов Сергей...»

Тут я вздыхаю. При всех своих недостатках Серёжка, ей-богу, хороший парень. Ну, покуривает иногда в уборной, ну, случается, рисует на уроках карикатуры... Но ведь как рисует! Здорово! Вот бы кого в редколлегию включить! А то всё сам: и за художника, и за редактора, и за двух помощников своих, которые пошли собирать заметки по классам, да так и не вернулись...

Что же дать для юмора? Конечно: «Кому что снится» – «Степану снится, как бы на русском не провалиться. Ивану снится, как бы домой поскорее смыться („работать надо“). Денисову снится... Болотову снится...» Что им снится, это легко придумать.

Ну, и в самом конце, внизу, чтобы заполнить место, надо нарисовать почтовый ящик и поместить обращение: «Ребята! Пишите заметки в нашу газету!»

Вот так бодренько и состряпал бы номер редактор, назначенный из чересчур прилежных учеников. И у меня снова вырывается вздох. Почему? Потому что за окном дождь, потому что нет заметок, потому что, помучившись и не придумав ничего нового, я сделаю газету точно такой, как и тот воображаемый слишком прилежный ученик.

Впрочем, может, ещё и не совсем такой. Я скидываю с себя куртку и опять выжимаю «стоечку». Вместо почтового ящика я перерисую из «Огонька» ребус – пусть поломают себе голову! Вместо Серёжки Коновалова раскритикую школьного сторожа, любителя крепкой ругани, чтобы он не подавал нам, учащимся, отрицательного примера. Постараюсь получше описать пионерский сбор – он и правда был интересным. Про Сашку Вавилова, помимо всего прочего, скажу, что он настоящий товарищ, так как многим помогает по математике. А под заголовком весёлыми разноцветными буквами напечатаю: «Этот номер составлен на материале седьмого „А“ класса. Пишите заметки, детвора!» Ура!

Я по всем правилам выхожу из «стоечки», надеваю куртку и уверенно принимаюсь за работу.

Часа через два, перепачкавшись чернилами и краской, я несу своё творение в учительскую на просмотр к Михаилу Ивановичу.

Учительская открыта, но никого в ней нет. На столе лежат тетради, классные журналы – бери любой и ставь всем подряд «оч. хор». Заглядываю в директорскую комнату. Там на подоконнике коробка с мелом, какие-то книжечки, программы, инструкции. На стене – синий непромокаемый плащ Михаила Ивановича. В углу сушится раскрытый зонтик завуча Валентины Фёдоровны. Куда же подевались хозяева?

Положив стенгазету на стол, я быстро складываю не просохший ещё зонтик и прячу за шкаф (пусть поищет!), набиваю карманы директорского плаща мелом (вот, представляю, разозлится!), потом выхожу в коридор, сворачиваю к физкультурному залу – дверь его прикрыта неплотно – и тут догадываюсь, в чём дело. Михаил Иванович повёл учителей к папе. Сейчас посмотрим, чем они там занимаются.

Я просовываю голову в дверь и вижу такую картину. Во-первых, это уже не физкультурный зал, а что-то вроде опытного участка в миниатюре; папа сюда даже дощечки с надписями перетащил, и они стоят теперь посреди высоких горок земляной груши, тыквы, кабачков, разных сортов картофеля и капусты. Во-вторых, сам папа, сияющий и немножко важный, держит на весу огромный спелый помидор и что-то объясняет, а Михаил Иванович, Мария Фёдоровна, Иван Иванович и некоторые другие учителя смотрят и внимательно слушают. Как учащиеся, честное слово! И лица у них, как у учащихся, и тоже чуть сияющие. Такие хорошие лица, что мне делается вдруг неловко, и я тихонько ретируюсь от двери.

Я знаю, что папу очень уважают за его трудолюбие и скромность, а по своим годам и педагогическому стажу он действительно годится им в учителя. Но дело, я чувствую, не только в папином возрасте и стаже. Есть что-то большее, из-за чего к нему так относятся, но я не могу этого объяснить. Сейчас я лишь понимаю, что папа сильный, а сила его в том, что он совсем, совсем не *суровый*. У него какая-то особая сила, поэтому к нему так и относятся.

А я себе вдруг кажусь каким-то мордастым негодяем. Обжорой, хитрым, испорченным до мозга костей. И ещё я понимаю, что мне никогда не стать таким, как папа. Может, я и выучусь на морского лёгчика и сошью себе костюм, как у Митьки, и у меня будут белые с наглаженными стрелками брюки, но на меня никто не будет смотреть с сияющим лицом. Уважать, возможно, будут, бояться из-за моей суровости – тоже, но смотреть на меня так, с такими хорошими лицами – нет. Потому что я не знаю того, что знает папа, и, наверное, никогда не узнаю или не пойму.

Домой прихожу продрогшим и сразу забираюсь на печку. И мне уже не хочется ни в кино, ни на танцы. Я лучше погреюсь, а потом сбегая в ОРС и куплю на свой последний рубль чего-нибудь сладкого к чаю, чтобы папе было приятно. Чтобы он подольше был сияющим и немножко важным, чтобы он и завтра таким был, когда откроется его выставка для всех и приедут представители перенимать опыт.

Немецкий

Мама говорит, что я впечатлительный, впечатлительный и есть. Вот он меня сейчас отчитывает, а я не отвечаю, не грублю. Я просто вижу его вчерашнее лицо, поэтому не могу грубить, хоть он и не прав... Почему это не наше дело – критиковать школьного сторожа? И почему нельзя составлять школьную стенгазету на материале одного класса?

Михаил Иванович клином опускает верхнюю губу на нижнюю и отворачивается. Потом всеми пальцами откидывает с прямого лба длинные жёсткие волосы.

– Соберите по классам заметки и переделайте газету. Даю два дня сроку...

Урок уже начался, и я вежливо прошу у Ивана Ивановича разрешения войти, хотя опаздываю не по своей вине. Иван Иванович сердито разрешает, но я не обижаюсь на его сердит-

тый тон и даже не говорю, что опоздал из-за директора. Я ещё вижу то его лицо, когда Иван Иванович как внимательный ученик слушал папу. Я тихо прохожу на своё место, тихо сажусь и лишь чуточку удивляюсь себе.

Иван Иванович, продолжая объяснять, следит за мной краем глаза и, по-моему, тоже чуточку удивляется. Ведь я главный бузотёр на уроках немецкого языка: я у него однажды *такой* номер выкинул – ребята до сих пор не могут забыть...

А сегодня я даже тетрадку достал и смотрю Ивану Ивановичу прямо в рот. Он похож – я давно это заметил – на большого обиженного мальчика. Он небритый и сильно пахнет табаком. Он обижен на нас за то, что мы не любим немецкого языка.

А как его любить? Вот, например, такое стихотворение:

Tinte, Feder und Papier
Hat hier jeder Pionier.
Buch und Heft und Tintenfaß —
Alle Schuler haben das.

Или такое:

Wir bauen Motoren,
Wir bauen Maschinen,
Wir bauen Traktoren,
Wir bauen Turbinen.

Мы это учили ещё в пятом классе, и с той поры не то что невзлюбили, а просто дружно возненавидели немецкий.

Что мы – дураки? По литературе проходим: «Мороз и солнце, день чудесный», «Убит поэт, невольник чести», а тут: «Papier – Pionier», «Motoren – Traktoren». Я уж не говорю, что всё время приходится выламывать язык, поворачивать его и так и этак, к зубам прижимать, к нёбу задирать, чтобы получилось правильное произношение...

И всё-таки, наверно, надо. Как подумаешь, что в Германии может вспыхнуть революция и немецкие рабочие позовут нас на помощь – поневоле пересилишь себя и будешь твердить все эти «haben» и «sagen».

– Was habe ich gesagt? Wiederhole! – опять сердито говорит мне Иван Иванович.

Я встаю и повторяю, что он сказал, – последнюю его фразу. И он вновь удивлённо глядит на меня краем глаза, небритый обиженный мальчик. Ему показалось, что я не слушаю его, а я взял и повторил. Так что всё в порядке! Я опускаюсь на место и начинаю прилежно списывать в тетрадь то, что он выводит мелом на доске. Пусть поудивляется себе на здоровье!

Под конец урока Иван Иванович задаёт нам самостоятельно переводить отрывок из книги. Я выписываю на бумажку незнакомые слова, нахожу их в словаре, тут же выучиваю, затем читаю весь отрывок, вернее, двенадцать верхних строк, как он велел, сперва по-немецки, а потом по-русски, и задание выполнено. Теперь пусть спрашивает – я запомнил. У меня же, он сам говорит, лошадиная память. Но Иван Иванович не спрашивает и вообще больше не обращает на нас внимания: раскрыл толстую тетрадь и занялся своим делом. Тогда и я займусь своим.

Я поворачиваю голову и гляжу на Нину. Нина облокотилась о парту, зажала виски в ладонях и шепчет немецкие слова. Я вижу только её нос и губы. Губы её шепчут – слегка открываются и закрываются. Что они шепчут? Какие слова?

«Юра, – шепчут её губы (это я воображаю), – перестань на меня смотреть. Ты мне мешаешь заниматься. Отвернись».

«А мне так хорошо на тебя смотреть, Нина, – говорю я, – так хорошо, что передать невозможно. Мне радостно на тебя смотреть».

«Ну что ты хочешь от меня, Юра? Что у тебя на уме? Ведь ты целый год на меня так смотришь и смотришь и всё молчишь. Что тебе надо?»

«Откровенно, я и сам как следует не знаю, что мне надо. Мне просто очень приятно смотреть на твоё лицо, на твои волосы, на твои руки. Когда я на тебя смотрю, на душе делается весело, и я иногда слышу своё сердце. Мне очень приятно, что ты учишься в одном со мной классе, что ты сидишь наискосок от меня, и я могу на тебя смотреть. Мне приятно, что я слышу твой смех на переменах, а когда ты – правда, так редко! – взглядываешь на меня своими удивительными глазами, я весь замираю и стараюсь понять, что означает твой взгляд. И я очень часто придумываю наши разговоры, которых в действительности не было и нет. И если сказать тебе всю правду, то я проказничал на уроках главным образом ради тебя, чтобы ты лишний раз посмотрела на меня и, может быть, подумала, какой он (то есть я) смелый. Я бы мог много говорить о тебе и о себе, но ты меня не слушаешь, твои губы шепчут немецкие слова».

«Неправда. Я слушаю внимательно, я всегда слушаю внимательно, ты знаешь. И это тебе только кажется, что мои губы шепчут немецкие слова, на самом деле – совсем другое. Но я тебе не могу сказать, что они шепчут».

Девочки не должны об этом говорить. Ты меня понял?»

«Нет. Пожалуйста, оглянись, тогда я прочту в твоих глазах то, что ты не можешь или не хочешь сказать. Посмотри на меня, Нина. Если посмотришь, я тебе тоже скажу, о чём раньше молчал. Оглянись!»

Но Нина не оглядывается. Всё так же сжимая в ладонях виски, она твердит немецкие слова, и никакого-то ей дела до меня нет! Ладно, Нина. Хоть ты и не посмотрела, я всё-таки скажу тебе, о чём молчал. Я должен это сказать...

Иван Иванович продолжает заниматься своим: по-моему, разучивает новую роль. Я выдираю из тетради листок, складываю его вдвое, затем ещё раз вдвое, отрываю четвертушку и пишу на ней крупными буквами: «Nina, ich liebe dich». На перемене я незаметно подсуну эту бумажку в Нинин портфель.

У нас всё ещё впереди

За ночь столько навалило снегу, что когда утром мы глянули в окно, просто ахнули. На крыше у Шубиных образовалась высокая снежная подушка – лишь конец трубы торчит; изгородь наполовину утонула в сугробе, тропинку под окнами замело...

Сейчас бы надеть лыжи да дунуть на горку, но не хочется нарушать, распорядка дня. Я и так проспал зарядку, которую передают по радио, теперь придётся проделывать самостоятельно.

Пока я в одних трусиках – хоть в доме и выстыло – совершаю положенные подтягивания, приседания, наклоны и подскоки, мама растапливает на кухне печь, а папа возвращается из сарая. Он приносит с собой лёгкий запах мёрзлого сена (между прочим, по этому свежему запаху я и узнаю, что он был в сарае). Я иду к умывальнику делать водные процедуры, а он сторонится меня, чтобы не простудить. Тогда я нарочно подбегаю к нему и стягиваю с него поддёвку, а он звонко шлёпает меня и смеётся, а мама ворчит, что дома нет воды, а мы занимаемся глупостями. Она тоже немножко проспала, поэтому нервничает и спешит: ей надо замешать козам пойло, подоить их, накормить кур, и нам пора завтракать. Но это пустяки. Сейчас я разотрусь суровым полотенцем и сбегая на колодец за водой. А папа, оказывается, уже покормил кур и положил козам сена. Он, выйдя на пенсию, стал больше помогать маме по хозяйству.

Через часок мама управляетя, и мы садимся за стол Она ставит чугунок с рассыпчатой картошкой, миску с солёными рыжиками, кладёт хлеб. Не знаю, для кого как, а для меня нет

лучшей еды, чем эта. Я в самое трудное время – года четыре назад, когда были карточки, – за один присест по двенадцать картофелин съедал. И теперь не меньше того могу. Я разрезаю каждую картофелину на ломтики – они белые и сверкают, как снег на солнце, а шкурка сама сваливается с них, – цепляю вилкой упругие, пахнущие укропом и чесноком, рыжички, и ох как любо это всё исчезает в моём рту, и хлебушек ржаной так чудесно уминается! Папа говорит, что ржаной хлеб и картошка – самая здоровая пища. Как и простокваша, которая в сочетании с чёрным хлебом не только насыщает, но и оказывает благотворное действие на наш организм.

Картофель папа берёт вилкой и чистит ножом – никак не может отвыкнуть. И насмешливо поглядывает на меня: у него сегодня хорошее настроение. Мама успокоилась и тоже подобрела. Так мы сидим, завтракаем и чуть-чуть разговариваем.

Папа интересуется, как прошёл в клубе посвящённый годовщине Октября вечер, на котором я выступил от имени учащихся. Он подшучивает над тем, что я часто выступаю и будто бы «жую жвачку». Я не остаюсь в долгу и тут же показываю, как выступал он («Всё это великолепно, да, но... э-э-э-э... в баню, в баню надо почаще ходить!»). Мы смеёмся и вспоминаем Троицу и ШКМ.

– А ты дневник пишешь? – помолчав, уже серьёзно спрашивает папа.

– Конечно, – бодро отвечаю я.

– А с самолётами как?

– И с самолётами хорошо. Сегодня начинаю новую фюзеляжную модель...

Это папина затея, чтобы я занимался строительством авиамоделей. Он считает, что быть просто лётчиком не очень интересно – лётчик, мол, тот же извозчик – а вот конструировать и самому строить – другое дело. Но это не всё. Папа думает, что о главном я не догадываюсь, а я давно догадался. Он выписывает из Москвы материал для моделей и старается заинтересовать меня ими для того, чтобы я поменьше водился с хулиганами. В пятом классе с той же целью он заинтересовывал меня фотоделом, а с шестого класса авиамоделизмом. Да и дневник мой по сути предназначен для того же. Советуя мне его писать, папа сказал, что дневник приучает самостоятельно мыслить, оценивать свои поступки, ещё что-то...

Папе так хочется, чтобы я вырос хорошим человеком! Он, конечно, не знает, что и я этого очень хочу и в этом-то, собственно, состоит то тайное дело, которым я постоянно занимаюсь: вырабатываю в себе стойкий характер и силу воли.

Мама наливает чай и подаёт белые пирожки собственного печения.

– Ты ещё дрова возьми на себя, Юра, – говорит мама. – Папе одному трудно.

– Разумеется!

– И не отвиливай, пожалуйста, а то в твоём расписании дня всё предусмотрено, кроме того, чтобы помочь дома.

– Ну какой разговор, сударыня!.. Учтём, так ска-ать, подработаем вопрос и, так ска-ать, обеспечим...

Мама улыбается и небожно треплет меня за вихор.

После завтрака папа садится за свой стол в углу, а я за обеденный у окна. Теперь он может спокойно завершать труд всей своей жизни: как согреть нашу студёную северную землю, заставить её быть пощеднее к людям.

Правда, папа по-прежнему нетороплив, он бесконечно проверяет себя и подолгу обдумывает. Но с другой стороны, это и хорошо. Нам Павел Дмитриевич рассказывал на уроке зоологии, что даже такой великий учёный, как Чарлз Дарвин, и то почти всю жизнь трудился над одной книгой – тоже всё проверял. Вот так, наверно, и надо в любом деле: сто раз отмерь, один – отрежь.

А я не умею так. Я всегда один раз примеряю и сразу отрезаю. Видимо, поэтому плохо и летают мои модели. Они плохо летают еще потому, что я вношу разные усовершенствования и не придерживаюсь инструкции. Я их красивее делаю, а иначе мне неинтересно.

Сейчас, по распорядку, как раз и полагалось бы прочитать инструкцию, разобраться в схеме и заготовить хотя бы несколько нервюр. Но я ещё не могу побороть себя. Как представлю себе эту схему – нападает зевота. Я пока положил на стол дневник и будто бы думаю. Я и вправду немножко думаю, немножко поглядываю на склонённый папин затылок и, кроме того, поглядываю в окно.

Ребята уже катаются вовсю – кто на лыжах, кто на санках. Из моего окна виден весь высокий правый берег Явенги. Там, на взгорье, крестьянские избы, а за ними белая, без креста, церковь, а сюда поближе, под самой горой – полуразваленная банька.

В прошлом году эту баньку вровень с крышей занесло снегом, и мы из неё соорудили трамплин. Я чуть не убился, когда первый раз прыгнул. Склон-то длинный и довольно крутой, разогнался со скоростью курьерского, а потом так кинуло – метров тридцать летел!

И всё бы ничего, если бы не подвели лыжи: воткнулись носами в снег, и я со всего маха хлопнулся животом. Больше, наверно, минуты не мог взять воздуха, думал – сердце лопнет. Но обошлось, только одну лыжу сломал. Потом я её столярным клеем склеил и по бокам железки набил, прочнее новой стала...

Я сейчас с удовольствием надел бы лыжи и рванул туда, к ребятам, но вот – сижу. Вырабатываю характер. Папа объяснил мне, что характер начинается с воли, а волю только так и можно укреплять: хочется – победи своё желание, пусть даже незначительное, и сразу станешь сильнее. Надо постоянно упражняться в этом занятии, и сила воли будет расти... Я ведь знаю, что побездельничаю ещё немного, а потом и инструкцию прочту, и дров маме наготовлю, и лишь тогда пойду на лыжах. Себя-то я знаю. Это других трудно понять, а уж самого-то себя – как-нибудь.

Вот об этом, кстати, последняя запись в моём дневнике – о том, как трудно понять другого человека.

«28 октября. Объяснился с Н. Никакого ответа. Что за загадочный человек! Как она относится ко мне?..»

Я беру ручку, придвигаю к себе чернильницу и пишу:

«8 ноября. Второй день праздника. Он целиком посвящён отдыху. Думал о папе, о том, что он работает, как Ч. Дарвин. Глядел в окно и вспоминал, как в прошлом году чуть не убился, прыгая с баньки. Заставил себя усидеть на месте, чтобы не расслаблять волю... Насчёт Н. твёрдой уверенности нет. А может, она не нашла моей записки или не догадалась развернуть бумажку и прочитать, а просто выбросила её вместе с другими ненужными бумажками из портфеля? Как бы проверить? И вообще, что мне делать с ней и с собой? Это уравнение с двумя неизвестными я должен решить не позднее Нового года!»

Подождав, когда просохнут чернила, я прячу дневник в стол. А теперь ввиду праздничного отдыха я позволю себе небольшую перестановку (когда сам позволяешь себе – воля не расслабляется): сперва покатаюсь на лыжах, а потом сделаю всё остальное. Только и исключительно ввиду праздничного отдыха!

Я ловлю себя вот на чём. Я ведь не на лыжах иду кататься и не ради лыж допускаю эту перестановку. Если бы кататься, то я надел бы старые валенки, а я надел новые, коротенькие, которые мне мама купила в Вожеге – не валенки, строго говоря, а женские ботики, но я спорол меховую опушку, и они стали как валенки; я ребятам сказал, что они спортивные...

Потом, если бы кататься – я непременно зашёл бы за Ванькой. А я встал на лыжи и бреду своей улицей мимо маслодельного завода и даже не взглянул в сторону Ванькиного дома. И ещё: почему я отправился на горку не напрямик, а в обход?

Ответ простой: я иду поглядеть на Нину; я рассчитываю встретить её где-нибудь на длинной дороге, возле её дома или возле дома Клары.

Я заметил, что сила воли плохо действует, когда касается моих чувств к Нине. Пойти или не пойти на лыжах – действует, ответить или не ответить на замечание преподавателя – действует, вообще почти на всё действует, кроме этих чувств.

Я бреду, слегка задумавшись, по дороге, слушаю, как каркают вороны, и вдруг вижу Мартышку. Шустрый такой, остроносенький, пальто нараспашку, шагает мне навстречу, весёлый. – Здоровенько, атаман! – приветствует он меня беззаботно, как будто я ему ровня.

Я не отвечаю, приглядываюсь к нему. Выпил он в честь праздника, что ли? Глаза у него ненормально блестят, румянец пятнами.

– А ну дыхни, заяц! – приказываю я.

Он подходит и дышит мне в нос. Ясно, выпил.

– Хочешь, я тебя в снегу выкупаю?

Он, раздвинув рот до ушей, качает головой: не хочет.

– Где наклюкался?

Он молча, с ужимочкой дёргает плечами.

– А ты что – язык проглотил?

– Я ведь заяц, Мартышка, – отвечает он своим резким кривляющимся голосом и вдруг прямо и тяжело заглядывает мне в глаза. – Будешь бить – садану ножом.

– Ты? Меня?!

– А чего вы смеётесь надо мной? Какая я вам Мартышка? Какой заяц? – В глазах обида, злость, в голосе слёзы.

Ну и чепуха!

– Дай-ка сюда нож, – говорю я как можно спокойнее. – Давай добром, а не дашь... Считаю до трёх, – предупреждаю его и сбрасываю с ног лыжи.

– Значит, Мартышка, да? – не сдаётся он и снова тяжело и прямо смотрит мне в глаза.

– Раз!

– Мартышка?...

– Два! – Я вижу, как мелко дрожит его правая рука, сунутая в карман.

«Три» я не договариваю, а кидаюсь на него, силой выхватываю руку из кармана и, сжав её до боли, заставляю выпустить зазубренный кухонный нож.

Он вырывается, скрипит зубами, пытается боднуть меня под подбородок, но я всё крепче стискиваю его руки повыше кистей, пока в его затуманенных глазах не вскипают слёзы.

И сразу мне делается его жалко.

– Ты не Мартышка, – говорю я, освобождая его руки. – Ты дурак, потому что не понимаешь шуток.

– Я человек! – говорит он, всхлипывая.

– А кто же это оспаривает? Тебя же, наоборот, все артистом считают!..

И тут сквозь сверканье его слёз пробивается улыбка. Я это очень люблю: это как солнышко на утренней росе. Так бывает с маленькими детьми: плачут и вдруг рассмеются. Глаза мокрые, чуть виноватые, и в них радость. Ничего нет лучше на свете!

– На твой кинжал, и иди проспись, – совсем уже великодушничаю я и возвращаю ему нож. – А если кто ещё будет обзывать тебя, скажешь мне. Понял, заяц?

Я наклоняюсь, чтобы вдеть валенки в ремешки лыж, и вдруг словно какой-то толчок в мозг. Я резко оборачиваюсь (как Дзержинский, когда в него собирались стрелять) – Мартышка, дёрнув рукой и побледнев, опускает нож в карман... Всё-таки хотел, ударить меня!

– Знаешь что, – говорю я, ощущая короткие сильные толчки сердца, – вынь руки из карманов и шагай, не оглядываясь, к дому. А оглянись... Понял?! Марш!

Он, весь как-то обмякнув – и хмель с него, кажется, слетает, – покорно поворачивается и идёт. А я за ним.

Вот тебе и встретился с Ниной! Ну, да день велик!..

Любимый учитель

И снова уроки. Снова Мария Фёдоровна, Иван Иванович и остальные великомученики – учителя наши.

Мария Фёдоровна по-прежнему строит против нас баррикады, по-прежнему не брит и насквозь прокурен Иван Иванович, и в глазах его прежняя обида и недоумение.

Заканчивается вторая четверть. Близится Новый год... Сейчас у нас урок географии. В классе холодище, «душу видать» (так мы говорим, когда при выдохе вылетает парок). Половина учеников сидит в пальто, другая половина храбрится в пиджачках, но поёживается. Я в числе тех, кто поёживается. И всё же слушаю, слушаю, наверно, даже с разинутым ртом.

Наш географ Александр Михайлович, как это порой случается с ним, отвлётся от темы и рассказывает об Арктике. О сорокаградусных морозах, о пурге, которая засекает насмерть – слепит, сбивает с ног и потом затягивает упавших колючим снежным саваном. Это какой-то шабаш взбесившихся ведьм. Свист. Вой. Удары в брезент палатки, точно из пушек стреляют. А потом нередко – призрачное безмолвие, глянцевитые барханы снегов и через всё небо волшебные разноцветные всполохи знаменитого северного сияния.

У Александра Михайловича крепкая, кирпичного цвета, шея, худощавое лицо, над высоким благородным лбом с глубокими залысинами – вьющийся золотистый хохолок. Он большого роста, плечистый, статный. Когда он говорит или поёт, заметно, что у него нет многих зубов: это от цинги, которую он перенёс во время полярной зимовки. А поёт он – матросские песни или старинные романсы под гитару – так, что по спине мурашки пробегают: он дважды выступал у нас в клубе. И он красиво смеётся: «Хо-хо-хо!» – сдержанным баском и немного трясётся при этом. Я люблю его слушать и смотреть на него: по-моему, он самый выдающийся у нас в Явнге человек, такой, что мне иногда хочется быть им...

– А шторма в Ледовитом океане? Это вам, друзья, не просто солёная водичка, как на юге или даже на Балтике – пусть и там, в тёплых морях, она бывает высотой с двухэтажный дом!.. Троса леденеют, палуба, что каток, и вертится, проклятая, и то летит куда-то в пропасть, то вздымается на дыбы, а сверху с грохотом накатывает очередная лавина – только держись! Так вот раз и смыло за борт – это было в Баренцевом – одного юношу-практиканта, талантливый молодой человек был...

Александр Михайлович подходит к окну и прочищает ногтем в наледи глазок.

А мы сидим и ни звука, и не шелохнёмся. Даже Серёжка, которого недавно посадили вместе с Ниной на первую парту, угомонился и ни гугу.

– А вы плачете: «Холодно, душу видать», – ворчливо произносит Александр Михайлович, потом, вдруг улыбнувшись, энергично потирает руки и говорит: – Прочтите-ка параграф пятый пока. И чтоб – тишина мне!..

Он величественным шагом удаляется из класса – может, покурить, может, погреть в учительской у печки попорченные ревматизмом руки, – а мы послушно открываем учебник по географии и, шуруя страницами, ищем пятый параграф.

Минут через десять я готов: прочитал. Серёжка тоже, видимо, прочитал, во всяком случае, отодвинул книгу и опять начал приставать к Нине. Когда их посадили вместе, Серёжка провёл мелом черту посреди парты, разделил её на две равные части, и с тех пор на уроках только тем и занимается, что придирчиво следит, чтобы Нина не вторглась на его половину. Даже на уроках Валентины Фёдоровны, самой строгой нашей учительницы, я нередко вижу, как он мрачно скашивает на сестру свой цыганский глаз и толкает её под партой коленом.

Сейчас он требует, чтобы Нина сняла с себя шубку. Эту шубку Серёжка носил в пятом классе, вырос из неё, и теперь в сильные морозы её надевает Нина. Так нет, отдай его шубку! Ему купили хорошее зимнее пальто, но это для Серёжки не имеет значения. Он громким шёпо-

том угрожает расправиться с Ниной, если она немедленно, сию же минуту не вернёт ему его шубку.

– Слушай, Серёга, – говорю я. – А не сыграть ли нам в чехарду?

– В чехарду? – Серёжка тут же оставляет в покое Нину. – Сыграем! В чехарду – обязательно! А как же?.. Стёпка, вставай на шухер!

– Я лушче посижу, – смиренно отвечает Стёпка. Он в тёплом пиджаке, его не прошибает цыганский пот, как нас.

– А кто тогда встанет?

– Давай без шухера, пошли! – говорю я.

Мы с Серёжкой поднимаемся, но в эту минуту входит Александр Михайлович... Нина, улыбнувшись, бросает на меня благодарный взгляд, и вот за один этот её взгляд, за одну улыбку, подаренную мне, я прощаю ей всё: и то, что она не ответила на мою записку, и то, что она не оглядывается на уроках в мою сторону, и даже то, что она порой посматривает на Сашку Вавилова так, как никогда не посматривает на меня.

В этот день я задержался в школе допоздна, готовя с ребятами новогодний номер стенгазеты. Когда же, усталый и продрогший, прибежал домой, я увидел вот что. Мама постелила чистую скатерть, зажгла лампу с зелёным абажуром и, притихшая, сидит у стола, а папа, подняв очки на лоб, держит у самых глаз письмо и читает вслух. А на столе лежит ещё стопка писем, и я догадываюсь, что это от его бывших учеников, которые теперь сами учителя, агрономы, партийные работники. Они ему всегда пишут под Новый год из Москвы, Вологды, Ленинграда, Великого Устюга и многих других мест, а папа всегда читает вслух, радуется и попутно вспоминает что-нибудь из их школьной жизни.

Я отправляюсь на кухню, достаю из печки суп и подзасохшую жареную картошку на сковороде, отрезаю потолще ломоть хлеба, как вдруг до меня долетает задорный и очень какой-то молодой папин смех... Давно я не слышал, чтобы он так смеялся, – пожалуй, с самой Троицы! Я опрокидываю чугунок в миску, хватаю ложку, хлеб и спешу в комнату. Что там так развеселило папу?

А папа, улыбаясь как напроказивший мальчишка, протягивает маме страничку письма, и мама с доброй, чуть грустной улыбкой берёт эту страничку и, отставив ее на вытянутую руку к самой лампе (мама дальнороркая), начинает читать, поминутно откашливаясь, ровным, немного простуженным голосом.

– «А помните, Евгений Карлович, – читает мама, – что с Вами приключилось, когда Вы однажды жарким летним полуднем возвращались из Слобод? Вы шли бором и, видимо притомившись, сели отдохнуть на пенёк. Кепку свою сняли, положили на колено. А на ту пору из Троицы брела с молебна одна наша старушка Акулина Ивановна. И вот, порядочно ещё не доходя до Вас, остановилась она, глянула и зашептала (после она сама рассказывала об этом): «Царица небесная, матушка, Никола-угодник!..» И пала на колени и давай креститься – да Вы, конечно, сами это помните!.. И знаете, Евгений Карлович, ведь никто потом не смог убедить Акулину Ивановну до самой её смерти, что не Николу-угодника, а троицкого наставника-агронома повстречала она в Вотчинском бору. «Полно, – твердила она, – своими ведь глазами видела: эдакая сивая борода и сияние над челом... Сподобилась, благодарствие Богородице Матушке-Заступнице, сподобилась!» Очевидно, Ваша непокрытая голова, а точнее, лысина Ваша отсвечивала на солнце, и старушка сочла сей естественный блеск за святой нимб.



Но это, конечно, шутка, курьёзный случай. А напомнил я Вам, Евгений Карлович, об этом смешном случае неспроста. Давненько уж испытываю потребность сказать Вам, что, учась у Вас в ШКМ и работая под Вашим руководством на опытном участке, а также бывая в Вашем гостеприимном доме, мы, крестьянские ребята, получали не только необходимые для нашей жизни прочные знания, но, смею надеяться, посильно приобщались к настоящей культуре, и в этом значении мы, Ваши ученики, тоже «сподобились». Ваше бескорыстие, Ваша кристальная честность и преданность любимому труду – высокий пример для нас, потому что это те качества, которыми должны обладать все люди нашего прекрасного коммунистического будущего...»

Папа, сняв со лба очки, ладонью проводит по глазам и молчит. И мама умолкает. А я гляжу на них и думаю, что, если понадобится, буду защищать их до последней капли крови, всегда, всю жизнь, и от этой мысли у меня начинает отчего-то пощипывать в носу, и я прячу своё лицо за тёплую мамину спину.

Трепетное мгновение

Доброе дело два века живёт.

Старинная пословица

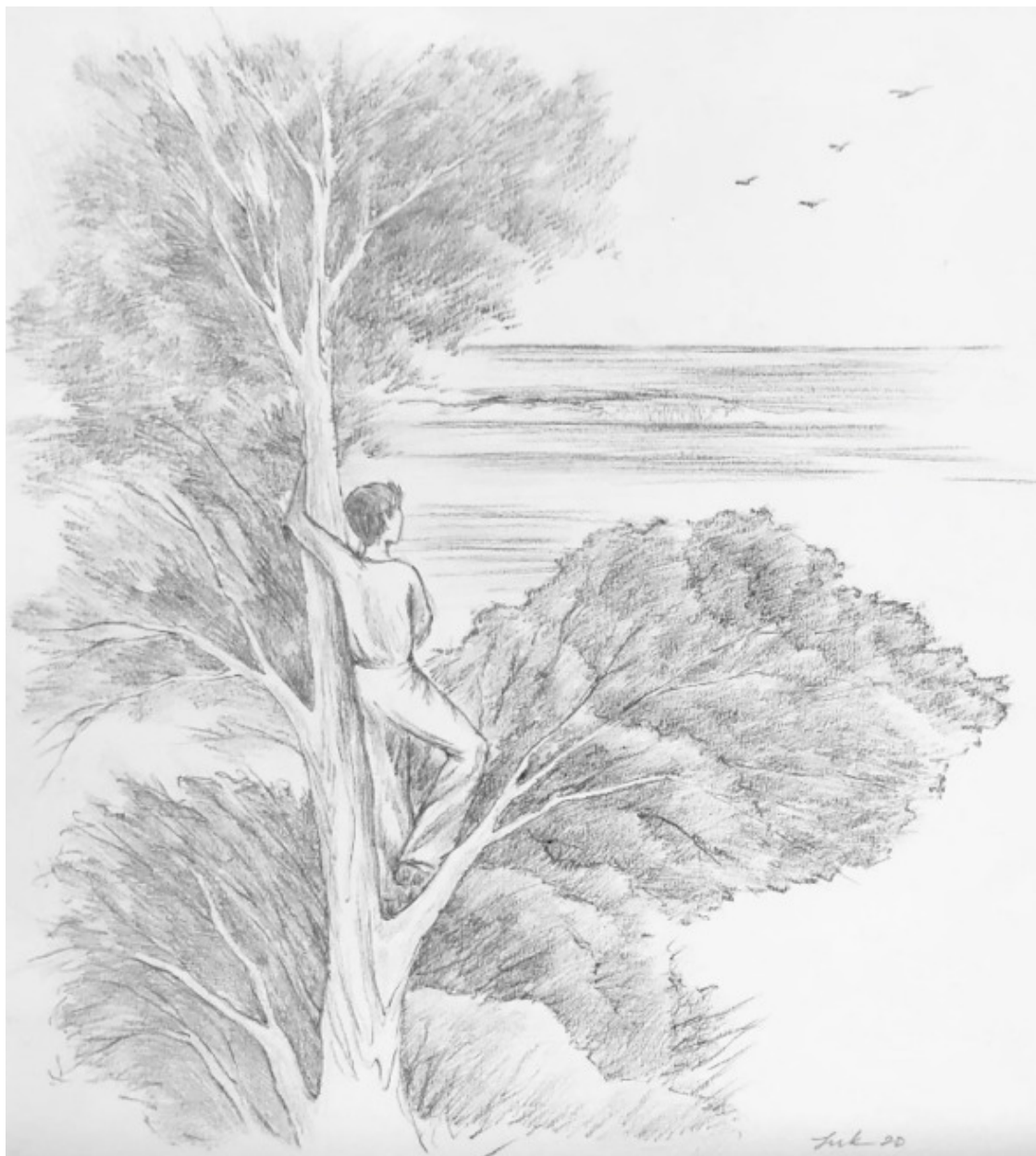
Елизарово

Принято думать, что когда человеку шестнадцать лет, то у него ещё нет прошлого. Если бы вы знали, сколько всего у меня позади!

Два года назад умер папа. С тех пор не было дня, чтобы я не вспоминал о нём. Иногда – очень, правда, редко – я вижу его во сне. А иногда мне кажется, что отец где-то близко, он не умер, вернее, какая-то частица его уцелела и живёт во мне. Я эту частицу называю про себя папиной душой. И когда мне удаётся встретиться с ней, то есть ощутить её в себе, я бываю счастлив.

Сегодня мне хочется рассказать о многом. Завтра, 20 мая, начало выпускных испытаний, нынче я занимался только с утра, а после обеда сделаю кое-какие обычные свои дела и уйду в лес. У меня есть предчувствие, что сегодня я встречу с папой. Во всяком случае, я этого очень хочу: накануне испытаний мне так ведь важно побыть счастливым!

Правда, как я не раз замечал, встречу с отцом надо заслужить. После скверных своих поступков, когда у самого муторно на душе, такой встречи не жди. Но если и специально, вроде бы задабривая кого-то, стараться делать одно хорошее – встреча тоже может не состояться. Счастье-то, видно, не даётся в руки так просто!



То, что я говорю, может, наверно, показаться непонятным, необъяснимым. На самом деле ничего необъяснимого нет. Я буду рассказывать о нашем житье-бытье, и всё станет ясно.

...Сейчас половина второго. Я только что пообедал и сижу за неубранным столом у открытого окна. Передо мной в обозримом пространстве – свежая зелень газонов, клумба садовых гвоздик, похожая на догорающий костёр, ряды прохладных старых лип, пустая, утрамбованная до блеска волейбольная площадка. По одну сторону от площадки тянется полуразрушенная каменная стена с тонкими, кое-где вцепившимися в неё деревцами, по другую – крепкий, выкрашенный тёмной охрой двухэтажный корпус школы. Над верхушками вековых, в солнечных огоньках, лип виднеется поржавевший купол церкви, а меж стволов белеет ладный заборчик, отделяющий территорию школы от сельмага, амбулатории и жилых домов, окружённых яблоневым садом.

Это и есть Елизарово, в былые времена известный на Псковщине монастырь, а ныне местный культурный центр. Сестра Ира работает здесь учительницей русского языка и литературы, она меня и взяла к себе после смерти папы.

Помню, как мы добирались сюда вместе с Георгием Георгиевичем, Ириным мужем. Вначале ошеломляюще прекрасный Ленинград, с золочёной громадой Исаакиевского собора, бело-зелёным, показавшимся чуть игрушечным Зимним дворцом, причудливыми кариатидами и сфинксами, вздыбленными конями и Адмиралтейским шпилем, мерцающим сквозь голубое море над Невой.

День был жаркий, до отхода поезда на Псков оставалось часа четыре, и я до одури бродил по Невскому проспекту, Университетской набережной, каналу Грибоедова, пил шипучую, с сиропом, газированную воду и не переставал удивляться: живут же люди! Я далёк был от какого-либо чувства зависти к ним, просто не мог представить, что бы в такой великолепии делал я, четырнадцатилетний мальчишка из глухого лесного посёлка, не мог вообразить подходящего себе занятия здесь и поэтому не смел мечтать о жизни в Ленинграде. Но и тогда я был уже достаточно уверен в своих силах, чтобы, стоя на Университетской набережной лицом к «храму науки», дать себе слово закончить десятилетку с аттестатом отличника и таким образом получить право на беспрепятственное поступление в институт. Конечно, в ленинградский, связанный с морским самолётостроением, – иного я не мыслил себе в ту пору.

Потом был Псков, на осмотр его, к сожалению, не было времени, так как Георгий Георгиевич сразу по приезде нашёл на привокзальной площади попутный грузовичок, который и домчал нас менее чем за час в местечко Елизарово, расположенное на шоссе, или, как тут говорят, на большаке.

И вновь удивление: за массивной оградой – каменный, городского типа дом, яблоки, которые можно срывать прямо с ветки и есть (мне, северянину, это было в диковину), живописные холмы, поросшие неправдоподобно чистым сосновым лесом, озеро с песчаным пляжем и восьмиметровой вышкой для прыжков в воду. И самое удивительное: в семи километрах от Елизарова проходила наша государственная граница, за которой начинался чужой, страшноватый, враждебный мир. Я в первый же день увидел группу загорелых пограничников, шагавших по большаку, – спокойных и даже вроде каких-то обыкновенных со стороны...

Ах, как мне хотелось подробно-подробно рассказать обо всём увиденном маме, отвлечь её от нескончаемых горестных дум, заставить поудивляться вместе со мной! Многому я тогда удивлялся, впечатления переполняли меня, а на душе жила и ныла острая ссадина: нет папы. Бывало, остановишься на крутом лесистом берегу озера, бродишь взглядом по водной глади, по заозёрным далям и думаешь: красотища-то какая! И вдруг сжимается сердце: а папы нет. Смотришь в воскресный вечер, как танцуют на мосту под гармошку пограничники с деревенскими девушками, интересно, и вдруг щелчок в мозг: любишься, предатель, забыл, что папы нет. И отходишь с тяжестью на сердце.

Первый год особенно трудно было. Но об этом после.

Сейчас мне хотелось дать лишь представление о Елизарове. Остаётся добавить, что Георгий Георгиевич вот уже год как призван на действительную военную службу, находится в танковых войсках где-то на Украине, и мы живём здесь в двухкомнатной квартире вчетвером: сестра Ира, её дочери – четырёхлетняя Леночка и годовалая Наташка – и я. Пока Ира на работе, за девочками присматривает проходящая няня из заозерной деревни.

Ну, и, пожалуй, хватит для вступления.

Я – домашний учитель

Пора к Косецким. Я даю сегодня свой последний урок.

Моя ученица Муза, кончающая седьмой класс, существо довольно странное. Я с ней целую зиму занимался по математике, три раза в неделю проводили вместе по часу, а то и по два, и уж, думается, можно было привыкнуть друг к другу. Но вот пожалуйста: вытянулась, как струнка, за накрытым скатертью столом и не шевельнётся. Перед ней разложены

учебники, задачки, тетради – всё, что может нам понадобиться, но руки Музы под столом, а глаза устремлены куда-то вдаль. Когда я вхожу и здороваюсь, она чуть привстает, говорит «здрасьте» и снова занимает прежнюю позу. Хорошо ещё, что нас теперь оставляют вдвоём. А то первое время, когда в комнате постоянно торчали мать или бабушка, неловко чувствовала себя не только Муза, но и я.

– Что у нас намечено на сегодня? Вопросы подготовила? – спрашиваю я.

Она, как обычно, в хорошо выглаженном платье с белым кружевным воротничком, такая чистенькая, тонкая, розовая, что кажется, раковины её ушей насквозь просвечивают, а щёки даже на глаз горячие.

Прежде чем ответить, она быстро перебирает беспокойными пальцами бахрому скатерти и ещё больше краснеет.

– Мы уже всё повторили...

– Так что же будем делать? – говорю я и ловлю себя на том, что мне нравится – и всё время нравилось – видеть, как робеет передо мной эта девочка.

– Я не знаю, – лепечет Муза, – может быть, повторим ещё раз вот это?..

И она своими быстрыми пальцами открывает наугад учебник геометрии и показывает мне: теорема Пифагора.

– Ну, давай формулируй, – говорю я.

Она убирает руки под стол и снова принимается отчаянно тереть скатерть. У неё нестерпимо горячие, прямо огненные щёки.

– Слушай, – говорю я вполголоса, по-прежнему наслаждаясь её смущением и своим спокойствием и сознавая, что в этом наслаждении есть что-то нехорошее, – ну, чего ты такая?

– Какая? – Стремительный взгляд в мою сторону.

– Нервная, что ли?

Она ещё больше выпрямляется – натянутая струнка – и, не глядя на меня, начинает что-то шептать. Это тоже в её манере: на мой вопрос отвечать сперва про себя. А может, это она бранит меня почём зря?

– Муза, я ничего не слышу.

– Теорема Пифагора, – произносит она вслух и потом, скосив краешек глаза на учебник, правильно отвечает.

– А потом ещё раз правильно отвечает и без заглядывания в учебник.

Я с трудом сдерживаю зевоту.

– Сколько мы с тобой должны ещё сидеть?

– А я никого не держу, – неожиданно с вызовом заявляет она.

– Ну, чего ты? Чего кипятишься?

Она вся передёргивается.

– Чего дёргаешься? – спрашиваю я равнодушным тоном.

Ну, что я могу поделать с собой, если она почти ребёнок? Ещё была бы одноклассницей – другое дело. Можно было бы пометать, как вместе поедem учиться в Ленинград. Можно было бы поговорить об Александре Блоке или о наших учителях...

– Давай-ка я тебя погоняю по учебнику. И пожалуйста, отвечай сразу, а не шепчи про себя.

Муза вспыхивает. И без того щёки алеют – на расстоянии обдавало жаром. А тут, бедненькая, вся, от корней волос до охваченной белоснежным воротничком тонкой шеи, так зарделась, что даже слёзы выступили на глазах.

Ну, что делать? Наверно, благоразумнее всего не замечать её повышенной впечатлительности. Всё-таки осенью, когда мы только начали заниматься, она вела себя по-другому. Тоже дичилась, краснела, что-то шептала про себя или в сторону, но тогда – я видел – ей было стыдно своего незнания или неспособности что-то понять...

Она влюбилась в меня, дурочка, вот что! Мне бы давно отказаться от уроков с ней, но, во-первых, она на самом деле стала лучше успевать по алгебре и геометрии (с геометрией у неё особенно не ладилось), а во-вторых, двадцать рублей, которые мне платят за эти уроки, тоже не валяются на дороге.

– Пожалуйста, дай определение сперва точки, потом – прямой, а потом – отрезка...

Она молчит.

– Будешь отвечать?

– Я это знаю, – говорит она, кажется, одними пересохшими губами.

– А я завтра сдаю историю, – неожиданно как-то вырывается у меня.

Опять стремительный взгляд в мою сторону.

– Знаешь, Муза, – говорю я, вспомнив, что от того, как я завтра сдам, во многом зависит, будет ли у меня аттестат отличника. – Знаешь, ты не сердись на меня. Ладно?

– А за что? Я не сержусь.

– Я не очень прилежно занимался с тобой, а у тебя ведь тоже испытания...

– Ну и что?

– Понимаешь, совесть-то моя не спокойна.

– Я выучила всё сама.

– И ещё я тебе хотел бы сказать...

Меня подмывает объясниться с ней по-хорошему и честно, не как презренный Онегин объяснялся с юной Татьяной, а по-настоящему, в современном духе.

– Что? – говорит она, низко опустив голову и со страшной силой теребя скатерть.

– Сказать, что из всех девочек в Елизарове ты самая... – «лучшая, симпатичная» вертится на языке, но я говорю более сдержанно: – Самая славная.

Она поднимает голову. У неё очень чистый высокий лобик, ясные глаза, а рот великоват. Полные губы нерешительно расплзаются в улыбку, проглядывают влажные скобочки плотно составленных зубов.

– Ты веришь мне?

Она опять клонит голову долу, и я вижу аккуратный пробор на её макушке, две короткие косички по бокам, трогательно беззащитную нежную шею с проступившим острым бугорком позвоночника над вырезом платья. И правда, самая лучшая девочка, единственный недостаток которой в том, что ей всего четырнадцать с половиной лет.

Я встаю.

– Когда ты сдаёшь математику?

– Послезавтра.

– Если ты не против, я приду посижу у дверей.

– Как хочешь. Приходи. Или нет. Или приходи.

Мария Августовна

Не успеваю сойти с крыльца – на узкой дорожке меж рядов цветущих яблонь показывается громоздкая фигура старухи, опирающейся на палку. В свободной руке у неё потёртая клеёноччатая сумка; палкой, прежде чем на неё опереться, старуха угрожающе размахивает и сердито произносит: «Кыш!» Шагах в пяти крадёт за ней семилетний Павлик, брат Музы, он, я вижу, всё целится и никак не может изловчиться залезть в сумку. Судя по тому, что Павлик большой сластёна, в клеёноччатой сумке у его бабки конфеты или печенье, и я уже догадываюсь, по какой причине расщедрилась экономная Мария Августовна.

– Гутен таг, фрау Мюллер, – раскланиваюсь я как можно любезнее, сбегая по ступеням и намереваясь ретироваться.

– О, гутен таг, мой юный друг, я чуть-чуть не опоздала... А вы уже кончили свой урок с Музой? Так быстро?

– Она хорошо подготовилась. Вы можете быть совершенно спокойны за Музу. Ганц руих, – добавляю я для пущей важности по-немецки.

– Кыш, мерзавец! – Лицо Марии Августовны мгновенно делается колючим, а потом на нём снова появляется приторная улыбка. – Мне очень приятно слышать то, что вы говорите про Музу... Может, по этому поводу вы выпьете с нами чашечку чая?

Она всю зиму занималась со мной немецким – она чистокровная немка, – и, хотя я ей должен быть благодарен, мне жалко сейчас терять время на чаепитие.

– О, спасибо! – отвечаю я по-немецки. – К сожалению, я не имею времени, завтра утром я должен держать своё первое испытание, оно очень серьёзно.

Пока я выговариваю эту длинную фразу, а Мария Августовна благосклонно внимает мне, по привычке прислушиваясь к моему произношению, Павлик таки ухитряется запустить в сумку свою лапу.

– Стой, негодяй! Оставь! Сейчас же верни! – покраснев, выкрикивает Мария Августовна, стучит палкой по дорожке, и её жидкие седенькие волосы, растрепавшись, спадают на лоб. Она берёт сумку под мышку, вынимает из кармана фартука не очень свежую тряпку, заменяющую ей носовой платок, и начинает вытирать впалый рот и выступающий вперёд подбородок. А Павлик улепётывает меж цветущих яблонь к пролому в монастырской ограде, за которой среди старых елей поблёскивает речка.

– Остановите его! Задержите!.. Это невозможно! – вся трясётся от негодования Мария Августовна.

– Ганц герн (очень охотно)! – откликаюсь я действительно очень охотно, потому что могу теперь со спокойной совестью удрать.

И я припускаю за Павликом, но не так, конечно, быстро, чтобы поймать его. Павлик удачно минует лаз, а я делаю вид, что не могу долго пролезть, что мне стоит труда перебраться через груды камней и протиснуться в неширокую дыру в стене.

И вот мы наконец вне поля зрения Марии Августовны, хотя и слышим её возмущённый голос.

Павлик на ходу запихивает в рот похожий на дощечку медовый пряник, торопливо уминает его, придерживая торчащий конец обеими руками.

– Стой, подавишься! – говорю я. – Да не спеши ты так, разбойник!

Павлик останавливается, но продолжает быстро-быстро жевать, пока коричневый уголок пряника, заталкиваемого перепачканными пальцами, не исчезает совершенно в его большом, как у сестры, рту.

Зеленоватые глазёнки его смеются, счастливые. Он меня не боится, знает, что я его не трону.

Вообще-то он мальчишка проказливый, сладкоежка и драчун. Иногда из-за лакомств он дерётся с Музой.

Прошлой осенью я был свидетелем, как Муза что-то отнимала у него, а он, схватив сестру за косу бил ее кулаком в грудь. Прямо зверёныш маленький. И зубы у него мелкие и острые, как у грызуна.

Но я действительно не трону его, что бы он ни сотворил

У Павлика и Музы нет отца. Говорят, что отец бросил их. Мне это трудно представить себе, но вот говорят. Как будто поэтому мать Павлика и перебралась с семьёй на жительство из Пскова в Елизарово. Кстати, она моя учительница по литературе. Хорошая учительница, ничего не скажу. Только капельку пришибленная какая-то и часто повторяет, что страдания облагораживают человека.

Павлик уже управился с пряником, вытирает кулаком рот, довольный. Мы садимся рядом на поваленное дерево на обрывистом берегу речки.

– Ты что действуешь, как налётчик? Что, не мог по-хорошему попросить? – спрашиваю я.

Два острых зелёных глаза испытующе устремляются в мои глаза. Глаза в глаза.

– Она мне не дала бы, – убеждённо говорит он.

– За чаем дала бы.

– А может, и не дала бы. Она такая. Она и маме может не дать. Она знаешь какая... – Он задумывается, глядя в воду, и умолкает, не договаривает.

– Всё равно, Павлик, нельзя. Она очень старая, больная, еле ходит. А ты смотри какой крепыш!

– Я весь в отца, я такой! – с гордостью заявляет Павлик, и снова зелёные треугольнички его глаз пытливо заглядывают мне в глаза.

– Поэтому она с тобой и строгая?

– Поэтому. Поэтому она и за Музку заступается всегда, потому что Музка в ихнюю породу, в бабкину. А я вылитый отец.

Мы оба некоторое время молчим.

Хотелось бы спросить, что у них в действительности произошло в семье, но он, конечно, слишком мал.

– Возьми у меня в долг двадцать копеек, купи такой же пряник и верни бабке. Только не говори, что я дал деньги.

– А ты ещё придёшь к нам? – Павлик доверчиво выставляет ладошку, сложенную лодочкой. – А где я тебе потом возьму двадцать копеек?

– Я могу долго ждать, если только больше не будешь разбойничать.

– Разбойничать не буду, – обещает Павлик и зажимает в кулаке тусклую монетку. – Ну, я пойду.

А я ещё долго сижу на поваленном дереве. В голову лезут всякие грустные мысли. Плохо жить без отца. Всё равно, какой бы он ни был. Если он с тобой – есть его рука, которую всегда можно потрогать. Не каждый это поймёт.

Я возвращаюсь через цветущий сад к дому Косецких, подхожу к раскрытому окну. Мария Августовна, похоже, до сих пор не успокоилась.

– Боже, что за дети растут! – восклицает она, показываясь в раме окна с взлохмаченными волосами, в сбившемся на бок несвежем фартуке.

– Он больше не будет, он обещал мне, Мария Августовна, – говорю я.

– Благодарю, – отвечает она нетвёрдым голосом. У неё покрасневшие от слёз веки, и она спешит скрыться в глубине комнаты.

Тоже несладкая жизнь у старухи, если разобраться по-человечески.

Кое-что о воспитании характера

Теперь, по расписанию, мне надо наготовить дров. Это моя обязанность, которой я никогда не пренебрегаю. И не только потому, что я единственный мужчина в семье не только потому, что дрова требуются каждодневно – топить печку и варить обед. С известной поры физический труд стал мне нужен для закалки характера.

Дощатая дверь сарая распахнута, и изнутри вместе со струистым ароматом свежеразрубленного дерева доносится равномерное тупое постукивание колуна, сопровождаемое шумным выдохом: «Хэк!» Я уже знаю, не заходя в сарай, кто там, по этому «хэк». Меньше всего мне хотелось бы перед завтрашним испытанием встречаться с историком (мелькнуло даже – повернуть обратно), однако откладывать работу – не в моих правилах, тем более что к вечеру мне надо быть свободным от всяких дел.

Историк, в одной майке, широко раздвинув ноги, стоит перед здоровенным чурбаком. Лицо с ямкой на подбородке мокрое от пота. Майка на животе почернела кругом. Колун держит за конец отполированной ладонями деревянной ручки, свесил его меж ног, дышит часто, а на лбу, как будто он на уроке приготовился отвечать на трудный вопрос ученика, обозначилась резкая изогнутая морщина – вершиной угла к переносице, – словно птичка с поднятыми крыльями, такая птичка-морщина.

– Привет, – отвечает он мне, кладёт колун на свою еловую чурку, вытирает лицо носовым платком и вместе с потом, кажется, стирает морщину со лба. Потом неторопливо отходит в угол и достаёт из кармана пачку папирос «Звёздочка».

– Придётся клином разбивать, – кивает он на свой сучковатый кряж. – Измучился с ним, с дьяволом, никак не поддаётся.

– Оставьте его до зимы, на морозе с одного удара лопнет, – говорю я, изготавливаясь к работе.

Николай Иванович легонько усмехается.

– До зимы-то сперва дожить надо. Дадут ли ещё нам акулы империализма до зимы дожить?.. А кроме того, негоже венцу природы отступать перед неодушевлённым предметом.

Я не без понимания осматриваю его еловую дровину: сучок на сучке. А сверху на срезе не меньше двадцати вмятин от ударов колуна. На месте Николая Ивановича я давно бы плюнул на этот чурбак. Я тоже, бывало, разозлившись, мучился над такой же дровиной, думая, что стыдно пасовать перед трудностями, и ничего другого не желая принимать в расчёт.

– Если у вас, конечно, есть время... за полчаса расколете.

– За пять минут, – решительно объявляет Николай Иванович!

– За полчаса, – настаиваю я.

Николай Иванович с интересом взглядывает на меня, и на невысоком лбу под шапкой лесенкой взбегающих волос прорезается птичка-морщина.

– Откуда ты взял?

– Собственный опыт...

– Ага. Тоже характер воспитывал? Характер надо воспитывать всю жизнь. Ясно. – и, сбросив колун на землю, он присаживается на чурбан, затягивается папиросой.

Я раскалываю с одного удара щелястый сосновый полукряжик.

– Хорошо, – говорит Николай Иванович и неожиданно спрашивает: – К завтрашнему готов?

– Учебник проработал.

– Весь? – удивляется он.

Я устанавливаю перед собой второй полукряжик, тоже лёгкий.

– Весь...

Дело в том, что всего неделю назад нам прислали новый учебник по истории и предупредили, что на испытаниях будут спрашивать по нему. Сам Николай Иванович и предупреждал.

– Когда же ты успел?

– Да успел...

Я спрятался от всех на чердаке школы, соорудил там себе возле слухового окна стол из снятой с петель старой двери и в этой идеальной по тишине и уединённости обстановке за четыре дня проштудировал новый учебник. Правда, сидел часов по двенадцать, обливаясь потом. Было солнечно, и железная крыша к полудню так раскалялась, что я на расстоянии полутора-двух метров макушкой ощущал, какая она горячая. Ни о чём об этом я, конечно, Николаю Ивановичу не рассказываю. Зачем?

– Ну, молодец, – говорит он. – Молодец, что успел.

Между прочим, во время войны с Финляндией Николай Иванович был политруком роты, штурмовал «линию Маннергейма», но о своих боевых делах он почему-то никогда не вспоминает. Из скромности, вероятно.

Я разбиваю третью, а затем четвёртую плаху, и Николай Иванович, потушив окуроч и тяжело отчего-то вздохнув, снова берётся за колун.

– А знаешь, ты, пожалуй, прав, – говорит он вдруг. – Сила не в упрямстве, а в верности цели...

Он веселеет, улыбается, отпихивает ногой сучковатую деревину и ставит на её место другой чурбак, поровнее.

– Цель, – говорит он, – обеспечить жену дровами... а мы вот, бывает, тюкаем и тюкаем в одну точку и всё без толку. Те же начётчики и талмудисты...

Ну, это он уже по своей специальности размышляет вслух. Я в тонкости его предмета не вхожу.

Я скидываю в кучу отдающие скипидаром поленья и, присев на корточки, набираю первую охапку.

Избранное общество

Они уже караулят меня. Расселись, как обычно, на лавочке под липами напротив волейбольной площадки, болтают, посмеиваются, а сами смотрят во все глаза, чтобы не упустить меня. Ребята, конечно. Девочки-то представляются, будто им всё равно.

Особенно эта кривляка – Женечка. Курносенькая. Жеманная. Настоящая провинциальная барышня начала века. Но братьям Горуновым, Михаилу, а пуще него Шурке, она кажется красавицей. Уму непостижимо! Михаилу шестнадцатый год, он кончает восьмой класс, а Шурке, по-моему, и четырнадцати нет, и он туда же. Да ещё крепче, настырнее волочится за ней, чем брат. С ума сходит по Женечке. А она это чувствует, поводит, будто ей зябко, плечами и отводит от меня деланно-безразличный взгляд. Понимает, что вижу её насквозь.

А к Виктору она почему-то не имеет претензий, хотя он, как и я, равнодушен к ней. У Виктора на диво спокойный, уживчивый характер, лёгкий характер. Он никогда ни на кого не обижается. А уж потешить публику, посмешить – любит страсть! И прекрасно поёт. Бывает, идёт по большаку в сельмаг за хлебом и во всю силушку заливается: «Мы идём по полям золотистым, и бойцы, молодые поют, песня звонкая артиллеристов, ты звучи, как салют». Слух у него отличный, голос звонкий, поэтому и не стесняется.

Правда, внешность у него довольно оригинальная (может, потому Женечка и не имеет к нему претензий). Голова ярко-рыжая, кудрявая, лицо до такой степени заляпано веснушками, что глядеть неловко: на лице больше бурого, чем светлого. Умные лукавые глаза, хорошие по выражению глаза, но с белыми, как у молодого поросёнка, ресницами. Плечи узкие, острые, на них, словно на вешалке, болтается синий суконный пиджачок. А почему он почти всегда в этом пиджачке или в рубахе с длинными рукавами? Потому что у него и руки все в веснушках. Вот уж поистине под солнцем парень родился!

Все они, за исключением Шурки, ученики сестры Иры: Виктор, Михаил, Женя и ещё две из их компании девочки. Ирина была их классным руководителем...

Так вот сидит эта почтенная елизаровская публика под липами – в центре, естественно, Женечка, – шутят, посмеиваются, спорят о чём-то и глядят, когда я с последней охапкой дров скроюсь в дверях.

Я поднимаюсь по лестнице на второй этаж и спиной чувствую, что они тронулись следом: впереди Виктор и Шурка, за ними Михаил. Девочки остаются на месте.

Я сбрасываю поленья к печке, снимаю с гвоздя ключ от библиотеки и упрятываю подальше в задний карман брюк. Потом выхожу в коридор объясняться.

Ребята просят волейбольную сетку и мяч, которые я на правах общественного физорга (комсомольское поручение) храню в школьной библиотеке (я ещё и библиотекарь). Я сам с удовольствием постучал бы с ними часок-другой, но наш директор строго-настрого запретил играть в волейбол в дневные часы, чтобы не мешать готовиться к испытаниям тем, кто живёт в интернате – тут же, в помещении школы, на первом этаже, как раз под нашей квартирой.

– Понимаете, запретил до пяти строго-настрого, – говорю я.

– Да мы потихоньку, потихонечку! – нежно и горячо шепчет Виктор, моргая белыми ресницами.

– Н-ничего н-не слышно б-будет, – заверяет подоспевший Михаил и зачем-то втягивает остриженную под машинку голову в плечи. У него и так короткая шея, а он её ещё сокращает.

– Отберёт мяч, он же предупреждал...

– Тю! – презрительно произносит Шурка. – Да только он покажется – даю слово... мяч в охапку и дёру. И закину в твою библиотеку, только окно оставь открытым. А потом пусть докажет. Мяч на месте. Ты ни при чём.

Шурка большой фантазёр, на словах смел, но на деле, как я не раз убеждался, первым поджимает хвост. С той же Женечкой, например. Узнал как-то, что она посидела часок с одним девятиклассником (в интернате парень живёт) у себя под окошком в саду, пришёл из своего Замельничья красный, злой и заявил, что поколотит этого парня. Однако стоило девятикласснику выйти на крыльцо, как Шурка скис, что-то залопотал себе под нос, какие-то неопределённые угрозы, и незаметно исчез. Это он мастак – исчезать своевременно. Поэтому на Шуркину болтовню я попросту не обращаю внимания.

– Я же тебе обещаю – *потихонечку!* – ласково убеждает меня Виктор. – Во-первых, только попасуемся; во-вторых, никто громко слова не скажет, ни-ни – голову даю на отрез; а в-третьих... время-то уже три часа!

– Да уже б-больше, наверно, т-трёх, – пыхтит-старается Михаил.

– Ясно, больше; точно, больше! – рубит Шурка.

А-а, была не была! Я отсылаю ребят вниз и через несколько минут спускаюсь к ним с волейбольной сеткой и мячом... Почему я всё-таки уступаю? По слабости характера? Или хочется самому поиграть? Или подсознательно – в ожидании встречи с папой – стараюсь быть добрее?..

Теперь я сижу под липами, а ребята и девочки безмолвно, как в немом кино, передвигаются по площадке, подают мяч, принимают, пасуют, навешивают на сетку, гасят или подсиживают... Шурка, когда мажет, яростно жестикулирует, но рта не раскрывает; Виктор, прыскавая со смеху, не забывает, словно он на уроке, прикрыть рот ладонью; даже Женечка не осмеливается нарушить наш уговор, вернее, условие, которое я перед ними поставил: играть молча.

Снизу вверх я гляжу, как летает в воздухе серебристый мяч, чуть звенит при подаче, мягко цокает, касаясь пальцев и, отскакивая от них, перемещается туда и сюда, выше, ниже и очень редко с тугим стуком ударяется о землю. Надо сказать, что у нас в Елизарове хорошие волейболисты, а хорошие потому, что почти все ребята прошли школу Васи Внукова, сына здешнего фельдшера.

Я гляжу не только на площадку, но и по сторонам, чтобы при появлении директора остановить игру и пойти объясниться. Сам я играю средне, не хуже, конечно, Виктора или братьев Горуновых, но, я в общем-то, средне, как я считаю, хотя тоже учился у Васи.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.